Борис Викторович ШЕРГИН

ЖИЗНЬ ЖИВАЯ

О Б. В. ШЕРГИНЕ И ЕГО КНИГАХ

Имя Бориса Викторовича Шергина сейчас известно гораздо шире чем это было при его жизни (он умер в 1973 году). Да и книг за эти годы вышло гораздо больше, чем за всю жизнь. Кроме того, по рассказам Шергина снят полнометражный фильм «Матвеева радость» (режиссер И. Поплавская), на Центральном телевидении сделан и несколько раз показывался часовой документальный фильм о Шергине (режиссер А. Кокарев). Так что люди, всерьез интересующиеся русской литературой, уже не делают вопрошающих глаз при имени Шергина. Но при всем при этом читатель продолжает воспринимать Шергина как писателя совершенно особого, и когда предпринимаются попытки определить эту особенность, то дело как-то само собой сводится к фольклору. Одни критики называют Шергина сказителем, другие самобытнейшим писателем или знатоком поморского быта, культуры и художественных традиций. И для таких определений как будто бы есть все основания. Он на самом деле был сказителем и прекрасно знал и чувствовал русскую национальную традицию, профессионально занимался изучением и собиранием фольклора, а в юности прошел замечательную артистическую школу выдающейся сказительницы Марии Дмитриевны Кривополеновой, хотя не менее, может быть, важными были для него и уроки — и в слове, и в домашнем и трудовом обиходе — очень многих талантливых других людей, о которых Шергин никогда не забывал, и это прежде всего мать Анна Ивановна, архангельская поморка, отец Виктор Васильевич, «бравый мурманский штурман»...

Но в чем все-таки художественное и эстетическое своеобразие книг Шергина? Попытаемся ответить коротко на этот вопрос.

Мы более привычны судить о значительности писателя по количеству сочиненных им романов, повестей, а ведь здесь ничего этого и близко нет: былины, сказки, всякие там побывальщины, ле-

генды из жизни русских поморов и даже выписки из старинных рукописных книг... Но можно сказать: все это не сам Шергин сочинил, все это народное, то есть как бы ничье, общее, твое и мое. Да, верно, и сам Шергин говорит: все это наше, твое и мое, и «если я рассказал мало и неполно или что забвеньем спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, исправь и дополни. Подкрепи свидетельством своим мою скудость»,— так заканчивается очерк «Запечатленная слава».

Шергина трудно сравнивать не только с каким-нибудь канонизированным классиком отечественной литературы даже и нового времени, но кого ни возьми из значительных или не очень значительных — все равно очень многое не сходится. И пусть не в содержании, об этом говорить сложнее, но даже и по форме: с самых первых публикаций в начале 20-х годов, с самой первой книжечки поморских песен «старого времени», записанных со слов матери, Шергин отказывается от личного своего авторства. И потом во всю жизнь поступает точно так же. Мало того что не забывает низко поклониться своим первым учителям «слово сказывать», но даже и к маленькой записи делает примечание: от кого и где услышал. И вот эти имена первоначальных авторов полноправно присутствуют в каждой его книге, и хотя они сбивают нас с привычных представлений о писателе, но когда мы через это свое представление переступим, то увидим, что имена этих первоначальных авторов не только не умаляют роли самого Шергина в словесном творчестве, но справедливо и наглядно подчеркивают, что поэтическое творчество всегда коллективно, всегда народно. В книжке «У песенных рек» (1939 г.) Шергин так пишет: «Промышляю словесный жемчуг «по морям и по волнам», на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера... Слушаю, как говорит народ и что говорит... И ведь он, этот твой или мой собеседник, нисколько не думает о красоте своей речи. Он всего лишь стремится выразить свою мысль как можно вернее, он хочет быть понятым как можно лучше...».

Не пройдем мимо этого замечания Шергина и мы! Ведь как часто в нашем привычном литературном, научно-филологическом обиходе говорится о поэзии устного народного творчества как о чем-то самоцельном, и как много эта поэзия используется писателями и поэтами в своих художественных целях. И речь, конечно, не о том, что такие заимствования предосудительны, вовсе нет, напротив, как устная поэзия обогащает письменную, книжную, так предполагается и процесс обратный, хотя он не так и очевиден. Беда тут в том, что заимствуется «словесный жемчуг» народной поэзии зачастую для выражения совершенно чуждых народному национальному сознанию мыслей, для выражения эгоцент-

рического миропонимания, для утверждения в центр жизни своего «я», своего «хочу», своей претензии на особые права и положения. Привычной нам поэзии и беллетристике нужен только этот «словесный жемчуг», который употребляется по своему усмотрению.

У Шергина не было какой-то индивидуальной, личной художественной задачи помимо той, которую он унаследовал по призванию и которую развил воспитанием, ученьем и благодарной любовью к родителям, ко всему «морскому сословью» и всегда милому его сердцу родному Северу. Чувства сыновней любви оказались вооружены и умением, и пониманием, и знанием истории, он пронес ее в себе, зачастую как свое спасение, через жизнь, пронес без сомнений и без хитрости. Вот почему для него как для автора естественно не заслонять своей персоной других участников творческой поэтической работы. Они, в том числе и многие безымянные (не сумел имя узнать, не запомнил, не записал сразу) поэты, такие же полноправные авторы. Таково творческое поведение Шергина. Но при таком творческом поведении только и возможно живое, постоянно художественно совершенствующееся действующее народное творчество. И оно вовсе не безымянно, как нам кажется. Авторы есть даже и у наших современных анекдотов.

Но как в творческом поведении человека отражается поведение житейское, житийное, трудовое, точно так в художественно-поэтическом народном творчестве отражается нравственное сознание народа, отношение к отеческой традиции, на которой веками строилась жизнь. Из этого проистекает ответственность, которую возлагает на себя народное искусство, и эта ответственность выражается в жизнестроительной задаче искусства. И всякое художественное, всякое поэтическое частное устремление, согласное с этой задачей, поощряется, поддерживается и запоминается. И вот эта запечатленная память поколений и есть народное искусство. Искусство — или умение — жить красиво и достойно, созидать полнокровную жизнь и красоту.

Такая строгая нравственная избирательность, устремленность на созидание красоты, на умножение в людях добра вовсе не означает, что народное искусство идеализирует мир, что оно не знает иной творческой силы в человеке — эгоистической, разрушительной, агрессивной, темной, как бы стихийной. Нет, вся «правда жизни» известна народному искусству. Хорошо известны аникивоины, находящие радость в разрушении красоты и отеческой веры. И эта темная сила вовсе не исключается из человеческого бытия, но ей всегда дается точное определение. Народное искусство, основанное на памяти поколений, не впадает в заблуждения относительно человеческих слабостей, не украшает венками ложь и пороки, но всегда стремится разоблачить их, запереть под всевозмож-

ные замки, не дать им развиться в сознании человека, прежде чем оно утвердится в самом образе жизни.

Можно сказать: но этим «заведует» церковь, религия.

Да, справедливо, религия знает эти глубины и возможности человеческой души. Однако это поле так обширно и рельеф его так сложен, а зло так многолико и цепко, что работы на этом поприще хватит и религии, и искусству. Тем более что работа такая должна быть неустанной и постоянной, потому что каждый из нас, появляясь на свет, все вынужден начинать с самого начала. И «век сей», который мы доживаем, красноречиво свидетельствует о том, что получается с человеческой душой, когда такая работа ослабевает или вовсе прекращается.

Борис Викторович Шергин всем своим умонастроением, всеми воззрениями, всем образом жития своего был именно художник народный, из тех самых русских Боянов, которые пронесли сквозь века живое поэтическое Слово. Пронесли — умножая это национальное достояние златницами своих поэтических дарований. Просвещенные времена, в какие выпало жить современным народным сказителям, эти имена сохраняют. Но в нашем сознании, легко и привычно воспринимающем только индивидуальное творчество, пусть эти имена не заслонят и первоначальных поэтов, не исказят присутствием конкретного имени поэтической и нравственной сущности этого коллективного творчества, потому что строительство жизни и для нас остается делом не менее многотрудным и таким же артельным, общинным, общественным, каким оно было и прежде для северных крестьян, архангельских поморов и вообще всех русских людей.

Таковы книги Б. В. Шергина.

Но теперь добавилась к ним еще одна — его Дневник.

Дневники знаменитых людей всегда делаются достоянием публики. Да они для этого и пишутся, что бы при этом ни говорили их авторы. Да и наше любопытство такие дневники чаще всего вызывают не сами по себе, а только в приложении к знаменитой персоне: ведь нам, простым смертным, любопытно узнать о частной жизни великого человека, о домашних и иных каких-нибудь тайнах, о мыслях, которые он по каким-то причинам не выразил в свое время открыто, а предпочел записать в секретную тетрадочку. Знаменитые люди знамениты своим делом, своим творчеством, своими профессиональными подвигами, а дневники так или иначе всегда оказываются как бы оборотной, интимной, частной стороной этих деяний. Вот М. М. Пришвин прямо так и пишет: «...Я главные силы свои писателя тратил на писание дневников». И если так, то вольно или невольно, а дневник оказывается уже произведением преднамеренным, и сам автор там предстает уже перед нами не как

обыкновенный человек, то есть человек прежде всего, а как специалист. И не делается ли эта особенность дневника как литературного жанра неким непреодолимым барьером между автором и мной, читателем? Ведь если он — писатель, художник, политик, а кто я — человек обыкновенный, рядовой? Но какова роль рядового человека в общении со знаменитым писателем или политиком — роль любопытствующего, некоего досужего простака, охочего до чужих тайн (ведь свои тайны так примитивны и ничтожны!)? Или некоего специалиста-дилетанта, которому положено интересоваться, в каком часу встал великий человек, что скушал на завтрак, как погулял на свежем воздухе и что при этом пришло ему в голову значительного?

Конечно, если мы, «простые сердца», и привыкли подбирать всякий окурок (по выражению Шергина), то в таком порядке вещей не может быть и сомнений: с одной стороны великий, значительный человек или начальник, а с другой (у телевизора, может быть) — мы, публика, население, потребители, просители — одним словом, простые люди... И в этом нет никакого преувеличения: не таковы ли именно наши взаимоотношения со всем тем, что мы называем культурой, искусством, политикой, литературой, журналистикой?!.

Народное искусство, то живое действующее искусство, какое предстает в книгах Шергина, предлагает человеку совершенно иные взаимоотношения. И сам Шергин как автор показал нам совершенно иной тип творческого поведения, отношения к человеку и вообще к жизни. Во мне без всяких сомнений и оговорок предполагается такое же заинтересованное лицо и такое же поэтическое дарование, как и в том, кто в сию минуту «слово сказывает», потому что в другую минуту «слово сказывать» уже буду я. Ну а если и не посмею сейчас дополнить, то ведь ничто не мешает мне пережить в себе чувство сопричастности (барьера-то нет!) или строго о себе подумать, укорить себя за беспамятство, за слабодушие — это сделать легко перед лицом иного поведения.

И вот это впечатление близости, родственности, даже заботы о твоем духовном устроении предстает и со страниц Дневника Бориса Викторовича Шергина. И здесь мы ничем от него не отделены: из Дневника даже и понять нельзя, что он писатель. «Встал рано, напрял мало». Или в другом месте скажет: «В Александров день с эстрады вякал два часа...». А мы про себя при этом можем подумать: это как же надо в я к а т ь, чтобы тебя два часа люди слушали?!.

Шергин не отгораживается от нас своей профессией. Да так ли уж она и важна, эта профессия, должность, место работы? Ведь ремесло, которым человек в поте лица добывает хлеб свой, у нас

у каждого свое, и всякое ремесло может быть творческим. В специальности, в ремесле мы можем быть разные. Но в чем мы едины, в чем близки друг другу? в чем наше родство? Только в том, что имеет единый смысл для всех, единое толкование. А это — понятие о Родине, о всей исторической жизни народа, о традициях этой жизни как самой надежной опоры для человека. Это — понятие о доброте, о любви друг к другу, о совести, которая тоже едина для всех.

«Не беда, говорит Шергин, что все мы слабы телом, больны. Беда, что ослабли духом...»

Страх и гонения века сего изломали, исказили весь облик жизни, вынудили человека к погоне за призраком материального достатка. Но неужели так прост и так забывчив человек, что весь отдался этой погоне и потерял в ней все свое достоинство? И не оттого ли мы и духом ослабли, а погоня наша за материальным достатком стала больше похожа на суету, на толкотню, в которой мы еще больше друг на друга злобимся? Но вот жизнь этого человека такого же, как я или ты,— красноречивый пример тому, как духом не ослабнуть, как не сломиться, не поддаться страхам и отчаянию. А причин как будто было предостаточно: время военное, послевоенное, самое тяжелое, самое голодное время... И сам он — «без ног, без глаз. Еле брожу, еле вижу...» И вот даже профессор Маргулис, всегда холодный и равнодушный, похлопал по плечу с участием: «Не много ли для одного человека?».

И вот в такую минуту, горше которой, кажется, и быть не может, Шергин находит в душе своей такие заветные и высокие слова, которые и для нас могут быть надежной опорой нашему ослабевшему духу,— вот как он думает после участливых похлопываний профессора: «Но я думаю: как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных, особливо в последние смертоносные годы... Так мало счастливчиков, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей. С плачущими, алчущими, изгнанными, скорбящими, тружающимися и обремененными куда почетнее шествовать путь жития своего, нежели попрыгивать со счастливчиками. «Счастье» этих немногих на бедствиях премногих стяпано-сляпано воровски-грабительно...»

Шергин особенно остро чувствует это болезненное состояние народной жизни еще и потому, что знает по своему опыту жизнь иную, знает счастье на иной основе, и вот о такой-то жизни он как раз постоянно и вспоминает, и пишет, и при случае рассказывает и с эстрады, и в госпиталях, и школьникам, и студентам. Но ведь остается еще и много такого, о чем с эстрады не расска-

жешь, остаются свои детские воспоминания, свои переживания, которыми укрепляется душа, и вот это уже можно доверить дневнику. Такие светлые минуты, которые помогают преодолеть «житуху пресмыкающую» и поднимают дух, нужно собирать. «Оно хоть лоскуточки все разноцветные,— добавляет Шергин тут же с улыбкой,— а ведь и одеяло, глядишь, выйдет. Нарядны бабушкины всецветные эти одеяла. Житуха-та знобит, а ты такое одеяло сошей, тебе и тепло будет. Еще внучата тебя, дедко, или тебя, бабка, помянут... Кабы мне из моих настроений сошить одеяло-то. Али лоскут худ? Вернее: ворох-то лоскутья велик, а воедино сошить силы-времени нет. Вот хоть эти записки мои. Собрать да перечесть бы!.. Не будет ли одеялишка?»

Только сердечная наша благодарность может быть ответом на этот вопрос. И как ко времени приходится нам это шергинское «одеялишко»!..

Бывает, в ненастную пасхальную ночь коварный порыв весеннего ветра налетит внезапно и задует у стоящих подле храма людей свечи — не успеешь прикрыть ладонью слабое пламя, заслонить собой и спрятать,— и все и всё вокруг погрузится во тьму. И темнота эта с шумом сырого ветра как-то особенно тревожна, беспокойство так и прошелестит меж людьми. Но глядь — в стороне каким-то чудом слабенько светит в ладонях человека живой огонек. И к этому огоньку уже тянутся погасшие свечечки. И вот уже огоньки, рождаясь один от другого, расходятся все дальше и дальше, пока снова все не восстановится, пока снова не загорятся все свечи. И уходит тревога, и лица людей опять спокойны. Но где же тот огонек, от которого все началось? Его уже не разглядеть, не найти, но ведь он где-то здесь, среди нас.

А имя этого человека, который под страшной бурей века сего сохранил для нас свет души своей, мы не должны забыть и потерять — чтобы опять не забыть и не потерять свои имена и свои души.

Юрий ГАЛКИН

1942

Передают сонату Шумана для скрипки и фортепиано. Торжественность есть и светлость в музыке. А я стихиры начал тихонько выпевать Зосиме и Савватию Соловецким. И вот нисколько не вразрез и не оскорбителен аккомпанемент музыки гимну святым пустынникам... Благодатный свет соловецкой святыни разливается сегодня по морю Севера. Слышу чудные звуки музыки Шумана и вижу: это волны бегут, обгоняя одна другую. Это волны ряд за рядом набегают на серебряные пески соловецкие, это волны с гребнями, озлащенными уже осенним солнцем Севера, плывут к стенам святой обители и лобызают камни ея... Соната Шумана... Там, на Соловках, поет ли сегодня славу хотя один голос человеческий? Но море поет стихиры, как пело века... Торжественно и властно звучит музыка... Как перезвоны колоколов, рояль. И скрипки, будто вдохновенное «Хвалите» молодых иноческих голосов... Вот я слышу: набегают мелкие волны, целуют камни основания стен соловецких и отхлынут обратно... А вот молчаливо подходят, как монахи в черных мантиях с белыми кудрями, ряды больших волн. Выравнявшись перед древними стенами и став во весь рост, валы враз творят земной

поклон. Сегодня кудри припали к подножию стен. И вот встают в рост и, оправив темные, тьмо-зеленые мантии, уже пошли с другими вокруг острова как бы в торжественном крестном ходе.

Память святых соловецких угодников, почитание Преподобных Зосимы и Савватия, и Германа, и прочих соловецких святых, любовь к ним... О, какое драгоценное наследие вручила мне моя милая родина, возлюбленный мой Север... Смала в родной семье я привык слышать святые имена Зосимы и Савватия, привык видеть икону их, Соловецкий патерик любимейшая моя была книга, а литографированные картинки его первою моею были картинною галереею. И начал я копировать их, едва научась держать в руках карандаш. (Соловецкий патерик. С.-Петербург, 1873.) Патерик этот принадлежал тетеньке моей, отцовой сестре Глафире Васильевне. Когда они жили в доме Перова, что против собора, к соборной пристани, я еще был мал, но любил рисовать. Придя в гости ко крестному, я срисовывал и «вид» с циферблата старинных часов, и цветы из «Цветника-травника», и вот особенно мною любимые «виды» из помянутого патерика. Тетенька сама любила эту книгу, и я привык относиться к рисункам бережно. И теперь, спустя сорок лет, все цело...

Дорогие, любимые, заветные воспоминания... Город жил морем. Отец ходил в море. Он часто по рейсу мурманского парохода заходил на Святые острова. Иной год мать и тетки ездили к Преподобным. Маленьких нас, ребят, брали не всегда. Надо плыть 16 часов морем, в хорошую пору лета. На Преображенье, на эту августовскую память преподобным, многое множество туда «ходило» богомольцев. От Соловецкой пристани, что на Соломбальском острове (под Городом) отходили на празднество 3—4 августа соловецкие пароходы. Что сказку, вспоминаю теперь эти пароходы... Золоченые кресты

на высоких мачтах. Нос парохода, корма, основания мачт были украшены деревянной резьбой, ангелы, святые, цветы... все было раззолочено, расписано лазурью, киноварью, суриком, белилами. Команда на всех пароходах монастыря состояла из монахов. Только длинные волосы да скуфейки выдавали чин ловких матросов... Вот пароходу, до отказу заполненному богомольцами (приехавшие из средней России со страхом ждут морской качки), время отваливать. Пароход свистит, стучит машина, гул толпы... И вдруг раздается голос штурмана: «Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!» Капитан, бородатый помор, в море состарившийся, обутый в нерпичьи бахилы, в кожаные штаны и морской бушлат (но на плечах у него коротенькая — как бы воротник — манатейка), нахлобучивает на глаза соловецкий клобук, крепче накручивает на руку четки (четки и у всей команды) и, по-соловецки истово знаменуясь крестом, творит поясные поклоны. Сразу умолкнув, молится и тысячная толпа на берегу и на палубе, и в машине, и в каютах: «Молитвами преподобных отец наших Зосимы и Савватия, Германа, Иринарха, Елизария Анзерского и прочих соловецких чудотворцев, Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!» «Аминь, аминь»,— гудит толпа. Начинается дивный в летнюю пору путь открытым морем... Ночь, белая, сияющая, небеса и море сияют тихими перламутровыми переливами. Грань воды и неба теряется в золотом свете. Струящие жемчужное сияние небо и море... как створы перламутровой необъятной раковины... Мало кто спит. Чтется соловецким речитативным напевом жития преподобных. А тишина блаженная, умиленная... Запоют тихо тропарь: «Яко светильники явитеся всесветлые на отоке окияна-моря, преподобные...»

— Глядите-ко,— скажет кто-нибудь,— из воды кто вышел...

Это нерпа, за нею другая, третья — помахивая головочкой, поглядывая умными глазками, неслышно перебирая руками-плавниками... А к утру, как видение, покажется как бы вознесенная над водами обитель. И как спутники, окружают судно белые соловецкие чайки... Облаком сверкающим налетят они, сядут на борта, на мачты... И вот уж слышны звоны.

А какой захватывающий интерес был для меня в этих привезенных из Соловецка гостинцах. Все необыкновенным казалось. Малых нас не брали в море. Мы знали, что туда отец уходит, оттуда дуют сердитые ветры. На стене висела картина, привезенная отцом из Соловецка, писанная на тонкой столешнице: золотой корабль, серебряные паруса, черные валы моря в серебряной пене, белые чайки, снасти вырисованы пером... Море малых нас страшило. Но знали, что «там, за далью непогоды, есть блаженная страна». Камешки оттуда привезут. Круглый он как мячик, обкатан морем... Годы лежит камешек, и всегда от него аромат моря. Еще привезут цветистых соловецких раковин. А потом хлеб соловецкий, ржаной. Каждому богомольцу, помимо того, что трои-четверы сутки монастырь всех поил, кормил бесплатно, выделялось на дорогу пять фунтов хлеба. Чудесно выпеченного, необыкновенно вкусного. Замечательны были большие соловецкие просфоры с изображениями. А как любили мы эмалевые образки, писанные на кипарисе иконы. И стопу таких нарядных, столь праздничных картин с видами монастыря, с изображением святых. И еще ложки с рыбой в рукояти или с благословляющей рукой. Затем чудесная соловецкая посуда глиняная. И всюду изображена чайка — герб соловецкий...

С Успенья не протянул руки к перу. В пусте дни проходят. Обо всем разоряюсь, о внешнем и о внутрен-

нем. На себя и на людей в досаде. На братишку* опрокинулся, сел ему на шею и когда слезу — не предвидится. Весь упал, весь ослаб. Толя... на троих он один добывает. И деньгу он добудь, и на деньгу ухитрись купить. И приготовь обед и ужин, и одень, и зашей, и... все он один. До ночи не присядет. А я, а моя функция в доме в том состоит, чтобы скандалить с нарушающими мое настроение, срывающими мое преуспеяние. К ночи придет братишко-то, еле приползет, за косяки держится, за стенку, сумчонка болтается, бидончик гремит... Мы за еду, он и есть не может. Глазишки его чистые, светлые, серые... Сколько в них усталости смертельной. Я у окошечка дома с книжечкой сижу, в церковь схожу да покушаю, да вечером картинки разбираю. А он и в союз**, и в столовую, на кухню, и в очередь, то в одну, то в другую. Все удары, все обиды, все стражи, бесконечное околачивание порогов с просьбами, с прошениями, с ходатайствами, ежедневное барахтанье в море беспредельного блата, несмотря на усталость свою смертельную, невзирая на болезнь, все на себя брателко мой взял, измученный, голодный, больной. Каждый день — может, не может — с утра ему надлежит в битву бросаться. Денеж-

---

* Крог Анатолий Викторович — дальний родственник Шергина по материнской линии. Отец А. В. Крога был родом норвежец. Как видим, сродство довольно условное, но еще с юности этих людей соединили духовные пристрастия, единодушие, единомыслие, и родство по этой линии оказалось, несомненно, братским. Шергин называл Анатолия Викторовича «названым братом», «всей моей жизни поводырем», и со времени переезда Шергина в Москву (1921), в «город брата моего», они жили вместе, «одной семьей». По профессии А. В. Крог был актер, но в те годы, о которых идет речь в дневниках Шергина (40-е, 50-е), А. В. Крог работал художественным руководителем драматического самодеятельного кружка на одном из заводов в Хотькове.

** Должно быть, Союз писателей, членом которого Б. Шергин состоял с начала его создания — в 1934 году.

ки выколачивать, купить еду, купить подарки тем-то и тем-то, умздить, упросить, одарить, выстоять, выждать, из-за куска хлеба, из-за фунта картошки десять раз съездить по начальству, выпросить, доказать... Ино высшее даст записку на кило капусты, дак низшее «саботирует», этих надо смазать... Придет домой-то да упадет... А я всегда в ярость, что настроение мирное нарушил, с своими буднями, злобами дня. Я тру в три горла братом добытое, добытое через пот кровавый (он добывает, да он же и готовит), братом мне под нос подставленное. Да я же на любое самомалейшее проявление его усталости нечеловеческой, невзирая на то, что он болен тяжко (а лечиться разве он найдет минутку времени?!), я же любую минуту с яростью, с визгом, скандалом затеваю, что он нарушает мой покой и умонастроение. Отлаю последними похабными словами, не стыдясь, не страшась, не стесняясь мальчика*, и, хвостнув дверью, вылечу на улицу, чтоб, ежели дело к ночи, успокоить расходившееся сердце, умирить непонятную, неоцененную мою душу лицезрением звездного неба. Брат, истерзанный и людьми за день (каждый день людьми истерзанный), истерзанный заботами, тревогами (ведь все на нем, ни из чего надо ему одному все создать), истерзанный болезнью и усталостью, да вдобавок мною обруганный, опозоренный, побитый, брат сидит, хватаясь за голову, не дыша, не шевелясь, он уж и плакать, как, бывало, из-за меня или обо мне плакал, не может, а и отдыхать нельзя, надо мне и Мише ужин готовить... А я, наполнив дома стены матерной исступленной хульной бранью, облив грязью измученного работой на меня человека, двадцать лет с беспредельной нежностью заботящегося обо мне, как ни одна мать в мире не заботится о ребенке, я, избив и

---

* Речь идет о Михаиле Барыкине, с юношеских лет жившем в семье Б. Шергина, который называл его племянником.

оскорбив его, втоптав в грязь, я, вышед на улицу, возвожу очи на небо, взираю на звезды, жду, «дондеже утишатся вся чувствия»... Жду, когда он пойдет искать меня. Ходит, зовет с тревогой. Найдет, просит простить. Я поизмываюсь да покуражусь еще, тогда прощу, а иное и дерусь, ударю его, раз железной палкой по ноге ударил...

Выбрался сегодня на заставу, за Калитники. И точно в другом «городе» побывал. Сколько неба, сколько света, воздуху сколько! Веселье какое-то дает природа: осень сейчас, и ветер резкий в тени, ветер с дерев лист сносит, лист кружится по ветру; чудно глядеть; вереницы листьев, точно живые, гонятся друг за другом по дороге, кружатся венком под ногами, будто дети играют. Трава пожелтела, поздний лист летит с дерев. Облака златосеребряные к солнцу, с исподи дымного цвета по-осеннему. Но радует сердце эта воля, простор, купол небесный, который, выйдя за город, опять увидал я от края до края... Широкая дорога, тропинки, ряды дерев идут далеко-далеко и манят тебя идти. И все бы шел по этим коврам опавших листьев. Подойду да постою... Вон меж дерев старая церковь, покосившаяся ограда. И безлюдье, и тишина. Только птицы чиликают да ворона крячет на коньке заколоченной избушки...

Я на веку здесь не бывал, а все здесь мое, все мне здесь любо. Здесь все так, как мне надо. Тишина, безлюдье (даже удивишься!), много неба с златосизыми облаками, дорога, вдаль уходящая, лист осенний. Ты-то стоишь, душа, точно вот птичка эта, из груди вылетает, чирикнет да на той березке посидит, опять к небу взмоет. Ты-то стоишь, клюкой подпертый, а душа-та рада, что из стен городских, из асфальтов слепых вырвалась, душа-та твоя везде налетается, наиграется. Вон как любо небо-то блестит, облака-те сияют сквозь голые ветви

дерев. Облака-те что корабли плывут... Обо всем наигралась душа, и меж дерев, и над деревьями, и вокруг старой колоколенки, и над крышами далеких домиков. Ты-то недалеко на липовой ноге, на березовой клюке убежишь, а душа — ох, как она далеко слетала по дороженьке той... Трамвай-то долго ползет долгими улицами до заставы, да от заставы до Таганки, от Таганки до Солянки. Деревянная Москва... Домишки двух-, одноэтажные, флигельки, дворы покрыты травой, деревья из-за заборов... Какая здесь была уютная, настоящая жизнь. Какой спокой. Как жизнь проходила по-человечески... Покосилось, похилилось все сейчас... Было быто, да было жито...

Будто в каком-то сне тоскливом, дни мои идут. И рад бы обрадоваться, и неоткуда радости ждать. Радость и мир надо заработать, надо других обрадовать, тогда и сам радость получишь. «Тако да просветится свет ваш пред человеки...» А я весь мгла, весь муть и туман по отношению близких моих. Простой мирской честности нет во мне, кругом ложью живу, свое бросаю, чужое хватаю, лгу людям, лгу и себе. Глубоко в тине барахтаюсь, а требую от других уважения...

И я сегодня день-от вился как белка в колесе. Сейчас Толька понес Мишке в джаз хлебца, и я урываю пиcну́ть. Завтра память преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватий и Зосима жили в XIV и в XV веках. Мы живем в иные времена. Но это не значит, что иное время — «иные песни». Нет! Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звезды. Вот это созвездие видишь ты, видели его и твои праотцы, будут видеть, если продлит Бог век мира сего, и правнуки твои... Благословенна эпоха, благословенны времена, в которые жили чудотворцы Сер-

гий, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наша слава, они наша гордость, упование и утверждение. Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш против тех святых времен. Но я наследник оных благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же стаде...

Златые уста говорят: «Не можешь быть большой звездой, будь малой, только на том же церковном небе почивай...»

Вот так опомнишься на мал-то час, очнешься, от будней бесконечных упразднишься на мал час хотя и думаешь: вот какое мне царство предлагается, ведь я царству наследник: сыном света, чадом божьим я могу быть, вместилищем радости нескончаемой, которую дает Христос любящим его. Я в церкви Христовой, и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким богатством земным не сравнишь... Дак что же я скулю как собака, что в мире сем обойден да не взыскан, не пожалован!..

Ехал на трамвае: Лубянка, Театральная... Толкотня, жмут, ругаются. А над городом, за площадью, за домами дальними туманная заря... И вот вижу берег родимого моря. День, тишина безглагольная, разве чайка пролетит и жалобно прокричит, рыба плеснет. Бледное северное небо. В беспредельных далях морских реют призрачные туманы. В тишине несказанной слышен еще легкий плеск волн о камни... Серые камни, белые пески, раковины... В этой тишине, в тихом сиянии северного дня вижу двух иноков. Это преподобный Савватий и преподобный Герман отправляются на Соловки. Тихи их голоса, спокойны их действия. Преподобный Савватий выше Германа, тонок и худощав... Инокам предстоит двухдневный путь в малом карбасике открытым морем. Но ничто не может нарушить спокойствия Савватия... Начав подвиг иночества в Кирилловом монастыре,

Савватий отошел на Валаам как место более пустынное, но сияние святости заставило и суровых иноков Валаама преклоняться перед Савватием. И вот он бежит в пустыни Белого моря, на берега, в XV веке почти безлюдные. Здесь обретает он другого пустыннолюбца — Германа. И вот садятся они в малый карбас, чтобы, переплыв морскую пучину, положить начало благословенному жительству иноческому на диком, необитаемом острове Соловецком.

В движениях инока Савватия, во взгляде его очей, в выражении его светлого, но изможденного постом лика столько величия неземного, что инок Герман, сам муж духовного разуменья, сразу всем сердцем приник к новому своему сопостнику и сомолитвеннику, почтив Савватия старшинством в великом смирении своем...

Карбасик наполовину вытащен на берег. Мачту поставят, выйдя в голомя, сейчас она с навернутым парусом лежит вместе с веслами и багром. Пестерь с сухарями, мешок с сушеной рыбой, бочонок воды — вот и вся кладь иноков-мореходцев.

— Господи, благослови путь...

— Аминь. Бог благословит,— тихо говорит Савватий...

Упираясь грудью в карбас, они толкают его в воду. Песок шуршит, плещет вода. Иноки входят в свое суденышко, отпихиваются веслами. Савватий садится в корму, правит. Герман ставит мачту. Но кругом много камней. Карбас надо вести осторожно... Иноки садятся за весла. Берег все дальше и дальше. В тишине только и слышен стук весел. Небо да вода. Чайки долго летят провожая святых. Когда потянул ветер и путники поставили парус, вода белыми кружевами забурлила под карбасом...

Эти вот дня два все мыслью туда, к святыне родины моей возвращался. Я маленький и скаредный, а

сокровище родины моей, которому и я наследник, святыня Соловецкая велика, и неистощима, и пречудна, и лазурна, и пренебесна, и благоуханна. Я приник живоначальной памяти преподобного Савватия, и будто кто меня взял и поставил на берег пресветлого Гандвика, родимого моего моря... И лики преподобных вижу, и слышу плеск волн, и стук весел, и крик чайки...

1944

Новое лето как бы, думаю, с новой тетрадки начать, но не искусственно ли таковое расселение. Жизнь ведь та же, мысли те же... Божье что-нибудь сдумать-то охота. Нельзя жить совсем без радости. А вправе ли я на себя радость-ту натаскивать? Чем тянемся... Конфетешки, ежели удастся выграбастать по пайку, то и продадим, или жиры. Паек-то не выдают. За две рубахи семь кило картофеля дали. В ночи брателко-то долго не спит, дума думу побивает. Я все с головной болью очнусь. Брателко порошков даст, горчичник на затылок, чаю крепкого. Я и ползаю опять из угла в угол. А он, может — не может, уйдет... Как он трудится! И как я хочу ему в помощь быть! Валеночки у него на ножишках — одни заплаты. Без подошв. Вечером прибежит в худых душах, а еще Мишку в Таганке надо проведать. Жалеет его... Я куда сброжу, простужусь, лежу — ходите вокруг меня. Неделю «болею», братец по докторам, по аптекам (две аптеки на Москву) гоняет до ночи в дождь и в мороз... Хвораю я с чувством, с толком, с расстановкой. Того ради не любит меня братец одного отпускать куда-ле... Изноет весь: как я улицу перейду, как на трамвай сяду, как бы кто меня не сронил, да

как бы кто не раздавил... Ночь-ту сидит мне рубашонки зашивает. Я и дома рваный не хожу, заплаточки и те выглажены. А уж о нем некому подумать. Тонок что былиночка, худ что щепиночка, бледен до прозрачности. Как приляжет на минутку и встать не может, тик у него нервный сделался. Но на его худеньких плечах все заботы, у него на плечах я — неразвезимая, гнилая колода. Врожденное чувство долга и ответственности какую-то дивную силу дает хрупкому, точно фарфоровому, существу моего бедного братишечки. И вот там, где я, как навозная куча, расползаюсь во все стороны, он как хрустальная рюмочка звенит на морозе. Истинно, брателко ты мой, хрустальная ты чаша милосердия...

Встал рано, напрял мало.

Главные две дымокурки в коридоре враз затопили, дак уж нам, соседям, чуть что не окнами пришлось на улицу выбрасываться... Из коридора набьется дым во все комнатенки. Ждем, когда его вытянет сенями на улицу. Тогда из комнатенок дым в тот же коридор выпущаем. Что было тепла запасено, накурено да надышано, все уйдет. Но надо не пропустить момент замуроваться снова. Ибо начнут топить других две старушки. Оглянешься, а уж опять вкруг тебя полотенцами дым, как на картине Мясоедова «Самосожжение». Но люди говорят: «У вас хоть дымком-то пахнет...» Где центральное отопление, там и эту зиму в шубах сидят. Сестренка на Самотеке коченеет. Брателко на Пречистенку ходил вчера занять до четверга (без гроша сидим)... А еще морозов не было. Сестренка говорит: «Слава Богу, зима-та сиротская...»

Хотелось сон записать. Редко я хорошие сны вижу. Будто сидим в большой кухне (кабыть на родине это). Окно полое — летний день. И по улице идет высокая пожилая женщина, одетая по-домашнему для обрядни.

Повязана платочком, темное длинное платье, подпоясана фартуком. Худощавое, смугловатое, но румяное лицо. И необыкновенно прекрасные глаза, окруженные темными кругами. Глаза выразительные, в глубь себя смотрящие. Я все утро помнил впечатление этих глаз и вспоминал речи Исаака Сирина о мучениках, упившихся вином божественным, чашею Христовою... «Кто она?»— спрашиваю я. «Как же вы не знаете, это наша Дунюшка...» Отозвались о женщине так, как говорят о блаженных, юродивых, святых. А я (во сне) ощутил какую-то радость, что-де вот с этой женщиной мне надо побеседовать. И я будто знаю, что она пошла к вечерне в собор (больше-де нет церквей). И опять будто недоумеваю: в церковь идучи, она бы не так по-домашнему была одета... А сам будто, скорехонько забежав домой (дом наш в Архангельске), поспешаю к вечерне, чтоб видеть эту женщину, святую, с прекрасным, на нем несколько резких морщин, лицом, загорелым, с очами, не видящими суеты вокруг. Поспешая к вечерне, помню, будто погода, как после первой грозы, парит еще, и листики березовые нежные... Да! Еще полупроснувшись, под сладким впечатленьем сна я уже знал, что вечерня, к которой шла та, прекрасная, была на День Святого Духа. Березки, помню, благоухали...

Со мною не раз бывало такое: в городе ли, в старом проулке, в деревне ли, застигнет тебя, обнимет некое сочетание света и теней, неба и камня, дождя и утра, перекрестка и тумана... и вдруг раскроются в тебе какие-то тайновидящие глаза. (Или это разум вдруг обострится?) И одним умом думаешь — когда-то в детстве-юности шел ты, и видел ты схожее расположение дороги, света, тени, времени и места. А разум твой раскрывает тебе большее, то есть то, что сейчас с тобою происходит, отнюдь не воспоминание, но что бывшее **тогда** и происходящее сейчас соединилось в одно **настоящее**. И,

всегда в таких случаях, чтоб «вспомнить», когда я это видел, мне надобно шагнуть **вперед** (отнюдь не назад).

«Шедший сзади был впереди меня».

В такие минуты ясности и истинности сознания я не успевал обычно охватить и сформулировать того, что в такой отчетливости и несомненности уяснилось мне.

В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной. Отходил труд калечных ног, не нужны были подслепые глазишки и очки, не нужен стариковский костыль.

Потом опять тянулись дни и месяцы обычного житья-бытья. Но уж это мне ясно и видно, что в «те минуты» я отнюдь не выходил из себя, но **приходил в себя.** Это были минуты сознания и знания. И я отчетливо видел (понимал), что многолетнее мое житье-бытье проходит как бы в комнате без окон. И я не сознаю этого. Может, и окна есть, но мне они ни к чему, вроде украшения. И вот окно отворилось-распахнулось, и я узнаю, что есть иной мир, иное сознанье, иное бытие, настоящее.

...Как-то я уже поминал: старая девица (из богатых), как настанет Велик День или Святки, и она в те дни опухнет от слез. Вишь, юность и детство вспоминает: как-де у них празднично было...

Это мне непонятно. Вот хотя бы мое дело: наследством, по родителях, не судил Бог владеть. Но воспоминания детства для меня богатое наследство! Неиждиваемое, неотымаемое, непохитимое, неистощимое. «Не говорю с тоской — их нет, но с благодарностью» — оно есть у меня, оно при мне. Золотое детство не воспоминания для меня, а живая реальность. И она веселит меня. В труде весь свой век и весьма небогато жили мои родители. Но жили доброчестно. И тихое сияние этой благостной доброчестности чудным образом светит и мне. Светит и посейчас. В этом какой-то великий и благостный закон.

О, как это должны знать теперешние молодые родители, имеющие детей! И вот именно поэтому люди любят рассказать-вспомянуть свое детство-молодость. Бабки-деды — внучатам, отцы-матери — детям, бабы-хозяйки — у печки, у плиты — друг дружке.

Бывает, что человек вынес в жизни множество горя и — представьте! — он с годами, рассказывая о бедностях, об утратах своих, уже не жалуется, а хвалится ими! Потому что самый незначительный человек, вынесший много горя, становится значительным, заслуженным.

Старики, когда скорбные случаи их жизни, бедствия, утраты отодвинулись, начинают говорить о них как бы хвалясь. Перенесенные скорби становятся приобретением.

В течение тридцати лет знаю женщину, теперь уже старуху. К двенадцати годам лишилась родителей и пошла работать «на торф». Вышла замуж за горького пьяницу, который удавился, оставив ее с кучей детей. Сын пропал в уголовной тюрьме. Теперь эта старуха живет относительно спокойно, нянчит дочкиных детей. За последние годы я не раз слышал ее рассказы об ее жизни. Старуха эта всегда производила впечатление существа забитого. Но год от году рассказывает она всю жизнь интереснее, художественнее, вдохновеннее. Лет двадцать назад она немногословно-кратко вспоминала о том, как умер ее отец: «Пошел отец-то к утрене, весна была, воды. Он меня, крошку, на руках нес. А утреню отмолились, на обратном пути (из села в деревню) он присел отдохнуть и умер».

Недавно в кухне опять я слышал от этой старухи рассказ о смерти отца. Все детали выросли, стали знаменательными, провиденциальными. Уже отец ея, стоя у заутрени, чует близкий свой конец и произносит мольбы о грядущей судьбе дочери. В таком плане старуха осмыслила и другие скорбные эпизоды своей жизни. Чувствуется какая-то гордость.

Передавая печали и бедности свой жизни, человек, конечно, и вздохнет, и задумается. Зато как любо, как весело пересказывают люди светлые картины своего житья-бытия. Об уюте родительского дома, о доброй воркотухе-бабушке, о труженике-отце, о нежно-заботливой матери. Все они давно умерли, и кончина их, в аспекте прошлого, представляется рассказчику закатом тихим и мирным.

О бабушках, о тетушках своих люди рассказывают много забавного, любят описывать, как проводились в семье большие праздники, именины. В том же настроении, веселяся, опишут и случившиеся пожар, покражи.

У всякого человека есть что вспомнить, но у человека бездарного ничего не отпечатлелось. Бездарному все ни к чему, все мимо носу прошло.

Самая великая печаль человеку — утрата близких, вековечный уход их. Уходит отец и мать, муж, жена, брат, сестра, дети, друзья верные. Пусто, тошно, несносно обживаться без человека, с которым жил однодумно и советно, который всегда был на глазах, которого ласковые речи всегда были в ушах. Но проходит время, «годы катятся, дни торопятся», пустота заполняется. Глубокий ров скорби, которому, казалось, не было дна, уравнивается жизнью, ее неизбежными ежедневными заботами, событиями, новыми огорчениями и радостями. И человек помнит и ощущает только яркость и светлость, интересность и занятность бывшего спутника и участника жизни. Конечно, чем дольше шел ты по жизненной дороге с близким твоим, тем дольше будет и неутешность твоя. Скорбь об ином утишит тебе только мать — сыра земля. Но у большинства людей время залечивает эти раны (старость нередко приносит известное нечувствие).

О, как досадно слышать:

— Все это было, да прошло. Что прошло, то не су-

ществует. Чего не видишь глазами, чего не ощущаешь руками, того нет...

Немысленная речь! Невещественное прочнее осязаемого. Полено хоть сто лет в пазухе носи, полено и есть. А вот матери своей или сестры я годами не видел, без меня обе померли, но любовь и благодарность к ним живы со мною. Все, что было, то я в себя вобрал, и оно есть. Горестное бывало, но надобно вразумиться сердцем и принять бедности все как науку, как врачество, как опыт для остаточных дней и — почувствуешь удовлетворение.

Все, что ты видел, все, что ты делал, что переживал, во что вникал, над чем радовался или скорбел, все это, как некие неиждиваемые дрожди, остается в тебе. Ежедневная твоя жизнь должна быть и есть творчество (твои думы, твоя работа, отношения с людьми, разговоры с ними...)

Из сказанного вытекает силлогизм, ради которого я и весь этот разговор завел: мне часто пеняют, и на меня дивят, и меня спрашивают: «Для чего ты в старые книги, в летописи, в сказанья, в жития, в письма прежде отошедших людей, в мемуары, в челобитные, во всякие документы вникаешь? Надобны разве для жизни эти «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»? И я отвечаю: «Совершенно так же, как веселит и богатит меня жизнь — история моей семьи, отца-матери, бабок-дедов...»

Прочитываю книгу «Чиновники колмогорские соборные». Первый завод Афанасьев на Севере... Бывал там, видал места те. Шумящие под ветрами воды, песчаные берега. Древний деревянный городок и поотдаль меж старых елей белокаменное Афанасьево зиждительство. Великого размаха был человек. Под стать Петру-то. Какая художественная нарядность, какая цветистая картинность!.. Как декоративны, каким восхитительным зре-

лищем, истинно театральным, были даже эти «большие и малые провожания» Афанасия из его дома к службам и обратно. Перезвоны, обрядное пенье, узорные аксамиты, разноцветные штофы... И все это на фоне строгой и прекрасной природы, под жемчужно-восковым небом Севера. Сколько тут было для народа посмотренья-погляденья! Было на что полюбоваться! А ведь не про это, про другое любованье мне поквакать было охота. Ведь то моя родина... Чины колмогорские соборные старинные глазами читаю, а сердечное, а умное-то око видит, как все это при мне, во дни юности моей было. Чины Великого Поста, Велика дня конца XVII века читаю, чины служб церковных, а по свойству моему вижу обтаявший пригорок у южной стены собора. И мосточки тут вытаяли и обсохли. Бугор соборный, хоть пообсох с юга, трава еще бурая, прошлогодняя. Старухи тут сидят в шубах с долгими рукавами. Из-под шуб видны сарафаны с репейчатыми пуговками. С холма далеко видать: реки еще не вышли, но уже лед посинел. Под Куростровом, где стоит древний ельник, уже вон какие забереги, попадут ли куростровские к заутрене... А что Матигоры, что Куростровы — они художники, любители до чинов, до обрядов, до всяких прекрасностей, интересностей!

Долга предвесенняя и весенняя пора на Севере. Долго вешние воды шумят и поют; долго глядится весеннее небо в полые разливы рек. Долги вечерние тихостные апрельские зори. А в три утра светает. В Велик пяток на Погребенье, бывало, бежишь: светло-облачно, с моря ветерок, инде полоса снегов, инде воды по улицам. Середка реки водой взялась, от ветра рябь идет. Меж островами лед стоит. В распуту весеннюю бывает холодно с ветром, когда реки идут, а весело на сердце! Бывает, река еще стоит, а уж Город утопает в водах. По улицам на плотах ездят, и к страстным службам чужими дворами ходят — тыны-заборы нарочно разбирают.

Таким образом, читая о XVII столетии, вижу я свою пору и о своей поре веселюсь. Соглядая художественность быта оного столетия, радуюсь тому богатству впечатлений, переживаний и настроений, которыми так обильно упивалась душа моя там, на родине.

И вот ведь какое чудо! Эти впечатления и переживания отнюдь не воспоминания, отнюдь не прошлое для меня. Что было, потом лишь прибавилось к тому, что было раньше. Скажем: в юность отец-мать подарили мне сто рублей, а я прибавил со временем другие сотни. Ведь первая-та сотня не потерялась!!!

Может быть, я не вспомню по частностям тех фактов, которые сладко поражали мою впечатлительность. Очевидно, не факты, а сила радости, рождаемой фактами, неустанно клала свои печати на душе моей. А душа есть вещь непреходящая, нестареющая.

Вот почему веселить может «воспоминание».

Уж в каком же мрачно-унылом состоянии духа, но и тела, выползешь ввечеру из подвала своего потемненнаго... А глянешь в высокое, тончайшею пеленою нежнейшаго серого оттенка потянутое небо, как бы жемчужнаго тона кисеею волнисто убранное, озришься на этот пролиянный на землю свет прозрачных апрельских сумерок — и пошевелится в отупевшем сознании просвет какого-то удивления о красоте неба и земли.

В безлюдном углу бульвара обтаявшая, просыхающая земля. Серо-золотистая отава-трава прошлогодняя. Деревья прозрачными метелочками, тоненькими, гибкими веточками тянутся к небу вечернему. Нечто празднично-прекрасное, некая сладкая грусть в этой тихости ранневесенней. Эту благостную тихость не может одолеть будничность лязгающего инде трамвая, не могут нарушить повседневные подворотни, мимо коих ступаю обратно.

Воспоминание о рае; и вновь, и вновь виденье рая для меня — эта вот тишина земли апрельской.

Расточились снега, отшумели ручьи. Весна — утро для Земли-Матери. Глинистая, овеваемая ветрами Земли глядится в тихость небес и беседует шорохом безлиственных еще дерев, шелестом пролетающих в ночи ветерков.

— Благослови, отче,— говорит Земля. И, незримо благословляемая, учнет наряжаться на пир брачный, в благоуханную прозрачность первой зелени.

С запада веет хладень. Изредка подносит легкие капельки дождя. Свод неба над Городом окинут прозрачно-льняной пеленой. При солнце, в резких тенях и бликах улиц все как бы как-то беспричинно веселится, иное и невпопад. Но когда в полдень небеса отуманятся безмерной ровности пеленою, всегда кажется, что небо и земля задумались. Эта задумчивость родит тишину. Эта задумчивость природы родит тихость в сердце человеческом.

Спешат куда-то человеки, лают машины: ведь день, ведь дела, ведь — Город!.. Но эта новая песнь Земли, эти глины.. эти певучия уносящияся в тихость неба веточки, вся эта тихогласная апрельская песнь без слов — эта всеблаженная музыка больше и слышнее улично-жилищных лязгов, визгов, хрястов.

У природы лик всегда живой... Любая веточка, любой цветочек всегда живы и чудесны. Сколько годов я гляжу зимою и летом, ночью и днем на купу деревьев, что против моего оконца... Всегда они живы, всегда скажут что-то.

В деревьях, в цветах — чудо вечноюнеющей жизни. Деревья напоминают нам об утерянном рае. Сад был рай. Как любят люди, когда в углу асфальтового двора, на дне двора-колодца вырастет хотя бы чахлое деревцо.

Издалека заботливо везут полевые цветочки в свои комнаты-коробки. В свободный день с трудом выберутся за город, отыщут под забором квадратный аршин травки — то и дача...

Карнизы потемненных зданий, оттененные сумраком углы — неплохая рама для картины ночного неба. Дождался такого, моего, особливо желанного весеннего неба. Нежнейшее кружевное шитье. Шелковый тончайший тюль, ровно истканный бледно-золотыми цветами.Сквозь это несказанно нарядное кружево сквозит синий бархат ночи. Сквозит плывущая там по жемчужно-облачным волнам сияющая ладья молодого месяца. Через всю ночь гонится он за утреннею звездой...

Все хворает мой брателко. Сбродил до магазина, нет ли выдачи, и приуныл, мой свет. Я в таких грустях бродил вокруг дома-то. Облачно, ветрено. Падал вечерний суморок. То и хорошо, думалось, то и ладно. Уж как сумрачность эта созвучна моей унынности. Тем-то я и люблю тихо-ненастливые дни. В резво-веселую погоду ты особо ходишь, отъединенно.

«Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» Это в мои дни начинает природа тихомолчную беседушку. Природа задумчиво-грустная чашу успокоительную же и лекарственную мне подает дружелюбно. Тихостный полусвет-полусумрак реял по земле...

Сумерки тихие с ночью — матерь мне и матерь звериная, покровительница. Такого веселья нет, ино. Дружня рука на плече...

На бульварах пусто: публика не любит такого времени: надоело зябнуть, неуютно, поздно, проносится ветер тороками — порывами. Нахохлившись, пробежит прохожий... На соседней скамье одиноко сидит дама. Завидев мужскую фигуру, дама воркует: «Вар-вар-вар...»—

из фильма «Мушкетеры». Приуныв, дама долго закуривает, кляня спички. Перхая, обдав дымом махорки, она бредет, шаркая ботами. Голые опухшие коленки, детская юбочка... Везде горе, у всех. И конца ему не видится. И я дома братика оставил унылаго. Житуха вокруг самая бедственная, никому друг до друга дела нет. Никто не пособит, никто не поможет... Приуныв, одумался: ведь апрель, весна ведь. И коснулась сердца радость моя вечная. Огляделся: тихо-светло так... и уж не городской бульвар, а «насадил Бог сад, еже есть рай». Дорожки видятся чистыя, как бы речным песком усыпанныя. Нежно и тонко нарисованные весенние деревца тихими рядами. Как бы внове вижу это воздеяние гибких тоненьких веточек. Человек-от живет, мятется: день так, и век так: сгибайся, падай, подымайся. А эти божьи деревца и во дни среди шума особо стоят, с суетою неслиянно, светлы и тихостны, умильные дети Матери-Земли. Одно ведают — тихость неба, благость света, животворную силу весны.

Угасив огни, управившись спать, а брателко уже почивал, уж ночь пришла ко утру глубоку, но еще сущей тьме, пало мне на ум: что там на дворе. Раскутал стеколко, и — как вечно любимая невеста, глянула апрельская ночь, весна ночная. В куполе неба над Городом еще ночь, но побледнели уже края небосвода, а северная страна небес вся брезжит нежно-изумрудной прозрачностью. Переулок еще спит. Его домы, углы, крыши блазнят как слепая стена, но крышечки ее уже четко выписаны в мерцании зелено-золотом, предутреннем. Переулочек безмолвен, но не пуст. Сказывает мне таинственное. По взгляду, по виду мы давно понимаем друг друга. На рассвете переулок, вернее, перекресток наш, кажется особливо выметенным, прибранным. Точно «кто-то» сейчас пройдет или прошел только-то...

Мосточки так ровно белеют, а дорога светло углажена.

(Учуяв, что я бодрствую и, несомненно, что-нибудь ем, вылезла из своего будуара — комодного ящика — кошка Уляшка. Уронила с печурки Толькин башмак. Толька закашлял.)

Снова развешиваю уголок оконца: сине-зеленая озаренность небес прозрачна несказанно. Весь северо-восток точно иконостас нерукотворный...

Еще домы человеческие спят сплошною стеною. Но — как прекрасны, живы деревья!

Негасимые, немеркнущие весенние зори Севера, которыми от лет младенчества любовался я всегда сквозь узор стройных берез, стоявших перед домом родительским, навсегда запечатлелись в сердце как нечто прекраснейшее. И теперь, и всегда было сладко мне видеть утренний рассвет. И диво мне, что и здесь, у второй родины, в городе брата моего любимейшего, что и теперь, на пороге старости, живу я опять оконцами на Север, опять в стогодовалом доме, опять сквозь узор деревьев сияют мне весенние зори утром и вечером. Там, далеко на родине, в юности, в трепетные часы рассвета ждал, и ждал, и мечтал я сладко о дружбе, о любви. И вот молодость прошла. Много ли годов впереди?.. А позади много. И слава тебе, Богу, благодетелю моему, за все, что мне послал... Добро мне скорбь и печаль настоящего житья. О, каким бы я себя считал счастливым, ежели бы пособил мне Бог устроить жизнь брателку моему... В болезнях влачу жизнь. И это от мира сего. Это плотское, малое. Это должно стать безразличным, это недостатки телесные... Как бы тяжело ни приходилось телу, сладко и благодарственно поет душа, радостно и трепетно сознает ум присутствие Бога через любовь милующую брата моего. Дивно мне и сладко видеть не в книгах, а на себе милость Божью всеблагую. Изнемогает подчас тело,

не носят меня хромые ноги, но идет со мною брателко, и крепко держат меня его рученьки, и чудится, знаю я, что это сам Христос идет со мною. Худо видят убогие глаза, худо разглядываю людей, но светло, но явно вижу зрак Христов в очах благословенного спутника жизни моей, брата и друга моего.

— Это Я,— говорит Господь,— это Я!..

О неведомом счастии (о какой-то радости), о неведомой радости без слов молилось сердце в дни юности, там, у светлого моря, когда, забывая о сне, глядел я в жемчужные, таинственные зори белых северных ночей.

Теперь я понимаю, что природа жива. И ежели людская, денная, пылесосная, суетливая житуха обезличивает, обезразличивает природу в городе, то в оный нареченный, предутренний час глядите, как живут своею таинственною, не видимою «невооруженным глазом», жизнью эти деревья. Они — лицо вечной живоначальной матери Природы. Кругом «жилдома́» №, №, №.., набитые людьми,— кто их знает... Но меж домов благолепно возрастила Мать-Земля эту кущу дерев. И шепчутся они с небом, и живут они целою, правою жизнью с Природою, матерью всех. Эта целая, правая жизнь, жизнь здравая, долгоденствующая. Положена и человеку жизнь с природой, с весною и осенью, с небом и солнцем, с ветрами и дождями. Надо жить, чтобы в полночь слышать пение петуха, а на рассвете мык коровушки, чтобы у ворот лаял пес, чтобы слышать, как осенью барабанит в крышу дождь и шумит в трубе ветер, а по весне поют птицы...

Бродя по городу, я все остановлюсь да полюбуюсь, сломана ограда, дак и поглажу дерево. Дома-те люди сложили, кто их знает... А деревья эти чудно вызваны

к жизни из семечка. Мать-Земля питает их животворными соками...

О, какая чудная, несравненная картина глядит на меня из рамы убогого подвального оконца! В свете зари, как на золоте иконы, написана эта малая купа дерев.

В тишине рассвета, в тихости утра внятна и радостна мне разгадка таинственной жизни природы. Живы и прекрасны эти веточки, как сияние, расходятся они от сучьев. А сучья воздеты к небу. И деревья тихостью, в благом молчании склоняются друг к другу, глядя в зарю. И еще лучезарней глядит заря сквозь очертания стволов, сквозь узор ветвей. Не спят, живут деревья, глядят в занимающиеся зори утра. «Живы они и свет вечный видят».

Егорьев день. Коровушек, овец на волю выгоняют вербочкой... Меня бы, скотину застоявшуюся в нечищеном хлеву ума моего, меня бы, клячу сорокапегую, в сию зиму безбожия, скаредно сердце ознобившую, выгонил бы Господь на пажити весны своей вечно юной, жизнедательной. Скотина-та я очень уж чахлая. На тело бы плевать, но... купно с телесным дряхлованием и душа изубожилась недобре. Вижу рассыпающийся «столп моего тела», невозбранно выносит оттуда враг всякое богатство духа — «обретает бо душу невооруженну».

Запустил, забросил я ежедневное житейское попечение о хлебе насущном, все опрокинул на брателка. А и он вконец изнемог, телом и духом... Я не бегаю от дела мне причного*, приятного, легкого. Но свирепа борьба за жизнь. Всяк за себя. А я бы рад уж башку-то влепить куда-ле, только бы Тольке пособить. Слаб мой дух...

* От — причинять.

Будто собака, потерявшая хозяина, тучусь я невпопад, под ногами мира сего. И никому нет дела до меня, а иной и пнет. Я долго гарчу из-под лавки, а укусить не смею. Из знаемых-то никто самоохотно куска не бросит, все надо выскулить да вырвать. Я сейчас как чеховская Каштанка, к клоуну попал. Только чеховско-ет клоун кормил собачонку досыта...

А вдруг да позовет, найдет да позовет меня истинный мой Хозяин... Найди ты меня, мой добрый, вечный Хозяин! Приди в цирк, где на задних лапках я хожу, приди да и позови...

День светел; широко открыв глаза, глядит. Ровный, светлый туск неба; как тусклое зеркало, отблескивает мокрый булыжник, асфальт, плитняк. Дождь не стучит в оконце, но мокро шлепают калоши, раскрыты зонты.

...А надо сказать, что благополучные, так сказать, спортивно-здоровые люди, в большинстве случаев равнодушны, не замечают, не ценят да и не подозревают великого значения, несказанной значимости красот природы. Обыватель не подозревает, что природа — это книга богооткровенная... Здоровые не ценят... Это не значит, конечно, что всякой человек, заполучив острое или хроническое заболевание, начнет переживать отражение облаков в луже. Сказываю о тех, кто может вместить, кому дано.

Незавидна доля умываться заместо воды слезами, но дивно то, что как дождевые потоки уносят пыль и грязь с мостовой, так слезы (столь болезненные!) очищают очи мысленные, омывают зрение сердечное, прозрачными творят очи ума.

Таким образом, человек становится счастливым через свои несчастия. Видит прекрасное и великое там, где большинство не видит ничего, обретает богатство в том, мимо чего мир сей пробегает пуст и нищ...

Бреду бульваром. Безлюдно. Пасмурный вечер... Как благородна эта однотонность картины. Ежели б я мог рисовать!.. Водицей разбавил сепию, провел дорожки и, чуть посмуглее, набавив к сепии охрицы и индиго, залил клинья прошлогодней отавы. Это земля. А от бисеринки туши разлил бы это жемчужистое небо. И это небо, и эту землю соединяла бы у меня лента уходящих дерев. Ближние деревья — липы, их сучья видятся контрастно, а дальше идут тополя, восковым становится оттенок их, а дальнейшие блазнят, как паутинки.

Скажут: где, в чем красота ненастья? — а разве не прекрасны серые шелковые одежды, притом шитые жемчугом?

За день-то изорвется сердце...

Вечера попроведать уж на поздней заре вышел. Все хвалю поля небесные, блакитные. Тихость облачная, исполняющая землю, успокаивает тебя. Боль проходит. Ты учиняешься на дальнейшее способье. Но тихая, прозрачная заря поздневечерняя, успокаивая боль души, умиротворяя скорбь сердца, она подает сладкую надежду, она зовет и манит... Тихая, песненная вечерняя заря!.. Тихомирное, кроткое сияние долго, долго стоит над Городом. Глядят в него люди, и тише становится болезнь и печаль, и воздыхание. Этот свет «пришедшу на запад солнцу» рождает сладкую надежду на грядущие радости, надежду на некое блаженное утро. С этим утром соприкоснется там угаснувшая здесь эта прощальная заря.

Люблю я соглядать зори утра. Сердце трепещет здесь, предузнавая некую тайну воскресения. Заря вечерняя — не образ ли это блаженного успения о Христе, успения о надежде радостного утра...

...Пора моей весны пришла. Не подумай, что «вспомнила бабка свой девишник». О временах года баю. При-

рода украсилась зеленью. Деревья пышно завесились листвою. Не видать неба сквозь веточки. Зелень еще нежная, чудесная. Май наступил. Все поэты эту весну воспели. Соловей, черемуха; тут уж я бессилен, идите к Фету. Пышный пир для детей своих Мать-Земля готовит: растите, множьтесь, наполняйте Землю...

На днях, ожидая трамвая на бульваре, еще издали услышал сладкую такую и тихую музыку... Наконец начал проходить оркестр, за ним взвод за взводом — молодежь в военной форме. Стройно шли под марш, такой сладко-весенний. У них были спокойныя молодые лица... Все одеты по-походному. И подумалось: вот мы, старые, как цепляемся за житуху, как разоряемся, расстраиваемся, что не наелись, мерзнем, зиму еще одну доживем ли и т. д. и т. п. А эти, молодые, прекрасные, спокойные, сильные, еще и жизни не знавшие, идут и не жалеют, как бы отстраняют, покорные, кубок жизни. Отводят от себя кубок жизни царственным таким, великодушным жестом. А мы, старичонки, тесня, давя друг друга, друг у друга отымая, лезем к кубку тоя жизни беззубыми деснами, цепляемся, имаемся за него. (К слову, в башку пришло: вишь, англичане поношенных брюк, пиджаков, пальтов насобирали да нам послали. Дак у нас не то что рвань вроде меня, а... (неразб.— *ред.*) заявлений наподавали. Не на себя, а на родителей просят).

Ряды за рядами... Молодые, полные жизни, сил...

Темноглазый флейтист оркестра, промаршировавший мимо и окинувший публику серьезным взглядом, а пальцы его быстро бегали по флейте, он до того похож показался на милого нашего Мишку, что, вслед за старухой, прошептавшей: «Милые сыночки, как мне вас жалко!»— и я сморщился по-стариковски и, будто от ветра, утер слезу... Всегда у меня сознанье вины перед братиком, но и перед Мишуком. Никогда не выскажет, а всегда точно упрек в беспомощном взгляде больших

ребячьих глазищ. Я-то рос до 25 годов у маменьки за пазушкой. А у этого юностные-те годы ничем не украшены, не помилованы. Не за горами то время: встанет в семейные оглобли, наденет хомут труда и заботы пожизненной, а покамест юн, попраздничнее жизнь тому же Мишуку обязан я сделать. И тошно, и горько мне обо всем.

Люблю рассветы паче дня.

Люблю кануны праздника больше, чем праздники.

Люблю предначатие весны, нежели цветущую пору ея. Никаковы полности божьего свету нету в моем сердце. Разве пробрезжит временем некоторое предвестие утренних лазорей... Всяко наг, всяко скуден и беден, всяко повоначален, того дня утро-то и явится мое. Мои весны зачала, но не рассвет. С утрами, с рассветами, с канунами единочувствует бедная, обнаженная душа моя. А еще о роскоши дня, о пышности лета: не станет меня с это...

Я заблуждающийся, претыкающий, недоумевающий, незнающий, несведущий, слепотствующий, из кривого и безумного своего опыта делаю самовольные выводы. Я, например, никак не жду над собою чудес физических исцелений. Я не верю, что у меня может появиться ампутированная нога. Медленно, но неуклонно гаснет зрение, не перестанет отмирать зрительный нерв. Материя должна умирать. У одного раньше, у другого позже. С точки зрения «мира сего», я из тех людей, каких называют «несчастными». Без ног, без глаз. Еле брожу, еле вижу. Профессор Маргулис как-то похлопал меня по плечу и, всегда холодный, равнодушный, участливо взглянул:

— Не много ли для одного человека?

Но я думаю: как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных, особливо в последние смертоносные годы. Для кого, как не для нашего времени, сказано Тютчевым: «Слезы люд-

ские, о слезы людские! Льетесь вы ранней и поздней порой, льетесь безвестныя, льетесь незримыя, неистощимыя, неисчислимыя, льетесь, как льются струи дождевые в осень глухую порою ночной».

...Так мало счастливчиков, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей. С плачущими, алчущими, изгнанными, скорбящими, тружающимися и обремененными куда почетнее шествовать путь жития своего, нежели попрыгивать со счастливчиками. «Счастье» этих немногих на бедствии премногих стяпано-сляпано воровски-грабительно. «Поплачем здесь, да тамо воспоем, поскорбим здесь, да тамо возрадуемся».

И вот я не понимаю... Люди — рабы страстей и хвалящиеся своими страстями, плотоугодные, злые, обидчики, насильники, угнетатели, скупые, жадные, сластолюбцы, ненавистники, люди глупые и тупые, клеветники, наушники, обжирающиеся (а вокруг голод), пышно одетые (а кругом бродят нагие), такие вот «деятели» с одной стороны, а с другой стороны «массы» слабые, ленивые, характеры ничтожные, а в-третьих — всякой средней руки обыватель, им же числа нет,— вот все они (мы) ходим в церковь, служим молебны перед иконами, просим у икон чудес, исцелений, требуем от икон активности, а наша активность ограничивается тем, что пришли в храм да купили свечу...

Чудо есть, и Богу вольно человека чудом найти. Богу нигде не загорожено... Да мне-от надо раденье приложить. Вот, скажем, я иду путем и получаю известие, что за этими лесными болотами живет любимый мой друг, которого я давно ищу и который меня ищет. Неужели я не буду всяко трафиться за эти болота?! Неужели я буду сидеть да ждать, разве хватит у меня терпенья сидеть в бездействии: он-де сам меня найдет. Нет! Полз-

ком и бродом, днем и ночью примусь я попадать в город, где друг-от меня ждет. Я к тому сказываю, что чуда-то не надо дожидаться спамши да лежамши...

В человеке заложено семя тли. Человек самохотно взрастил в себе это тление и ныне услаждается им. Ныне человек ослеп умом. Не видит Бога ни в чем, не чувствует сердцем...

Старовер Трофим говаривал, бывало:

— Быват, заживешь, что и помолиться со вставанием негде и некак, и некогда будет. Дак на улицу выйдя, по пути хоть на восток посмотри, то велико добро...

День-от настанет, житуха-та пресмыкающая, не дни ведь, а будни. Дак какое добро с утра «на восток-от поглядеть»...

Собирать надо такие минуты. Оно хоть лоскуточки все разноцветные, а ведь и одеяло, глядишь, выйдет. Нарядны бабушкины всецветные эти одеяла. Житуха-та знобит, а ты такое одеяло сошей, тебе и тепло будет. Еще и внучата тебя, дедко, или тебя, бабка, помянут... Кабы мне из моих настроений сошить одеяло-то. Али лоскут худ? Вернее: ворох-то лоскутья велик, а воедино сошить силы-времени нет. Вот хоть эти записки мои. Собрать да перечесть бы!.. Не будет ли одеялишка?

Нежно шелестят, звучат, прядут звук так шелковисто-нежно скрипки кузнечиков. С утра-та все хотела душа прославить Успение Божия Матери, а с дровами пробился, с печью. День тих стоял, светлооблачен: дубы, березы, точно опустив ресницы, слушают исходное пение, тайну дня. И в тысячу прялочек прядут цикады. Может, то не работа, а в гусельки они играют, день славят....

И вот добро и светло жить. Ведь есть в мире, остав-

лено нам, положено такое прекрасное, такое живоносное, такое сияющее...

С весны аж до Петрова дня была вода у нас здесь в прудочке. Своя была вода для грядок. С полулета усохла — что Бог с неба дождя пошлет. С молоду бил родничок радости в сердце моем, своя была радость. Под старость не выжмешь ничего. Со стороны кто польет, то и рад... Чего ни хватись, того нету. «Внимай себе», а в себе-то джаз кунявит нечто меланхолическое. Иссяк прудок радости моей: мал был. Я как лягуша ползаю по суху, прошу у Зиждителя: создавый мя, дак и помилуй мя!

Богат дождь-от сходит на верные сердца. Как сойдет, так человек все беды забудет. Надо добиться, брате, в широтах жить, где-ка эти дожди сходят.

...Ночи-те худо спятся, в 4 часа светает. За окном лес стеною, все погляжу, обозначились ли на светлеющем небе верхушки дубов. А в комнате печка из потемок вылезет. Брателко худо спит, все желудком неможет, к утру забудется, а уж вставай, надевай котомку да бежи. Я изныл над ним. Все: ах, да руками мах, а на том не переедешь. Рад бы я жизнь за него отдать, как он для меня остаточки здоровья и сил ежечасно убивает, но время идет, а я ни с места. Брателко мой делом всю свою жизнь исполняет повеление: «друг друга тяготы носите и тако исполните Закон Христов». Моя вера без дела, потому и мертвою является для всех, кто меня знает. Имя Божие не светится во мне...

Давно ли я, приехав в лес-от сюда, дивился прозябающей молодой травке, нежным листочкам орешника, нежной зелени дубов и берез... И вот на днях ветер был, и летел, летел желтый лист. Разноцветиться начинают леса. Сей год, говорят, рано листопад зачался... Сегодня в ночь и туман опускался, прозрачен, но осенью пахну-

ло. А в ночах я все звездному сиянию дивлюсь. Величавы стоят тени дерев. И по вершинам, и над вершинами, что свечи мерцают в храме Господнем, толь славно и пречудно. Похоже еще, как дома, смала, бывало, войдешь в темное зало и чудишься мерцанию звездному сквозь узор тюлевых гардин...

С тех пор, как я «писать пишу, а читать в лавочку ношу», уже не под силу мне стало всякое чтиво беллетристическое и научное. Выбор чтения «сузился». Т. е. перестал я хватать с полу всякий окурок...

Ночи прохладны, на заре холодно. А с вечера мочило. В шесть часов небось всхожее-то взойдет. Низко, красно по земле меж дерев светит. Птиц уже не слыхать. А я, недоспав, видно, в горестном равнодушии ползаю. Брателко все неможет. Гадаем до зимы здесь* прожить, но, знатно, не по силам будет Толе при дождях да грязях. Дровишек наготовили, но как-то в Москву перетянем?.. А о братишковом нездоровье так беспокойно, и через этот ров не могу перескочить на тот берег, берег мира душевного. Все слышу: «Каин, где брат твой Авель?» Вот потому у меня и мира, и умиления, и молитвы нету. Скулю к Нему докучно как собака, а у Бога одно ко мне: «Каин, где брат твой?..» Вот у меня сердце-то все и стонет, вот я все и трясусь.

Вот я твердо, ясно и несомненно знаю, что мое дело жизненное... А оказался я с теми, кто дьяволу нанялся свины рожцы возделывать и плевелы в умы братий моих всевать. И хоть самый ленивый я в них, однако «лай не лай, а хвостом виляй»! Горе человеку надвое мыслящу и грешнику в два пути ходящу! Ведь мир душе тот может стяжать, кто «ум не разделен имеет». Ною об

---

* Видимо, речь идет о деревне Митино близ Сергиева Посада.

этом как нищий, всем надокучил... А дармоеды нигде не надобны. Еще не таково телесное мое убожество, чтоб сложа руки сидеть! А я братишке, слабенькому, всей тушей на руки присел.

Навряд ли может статься, но ежели бы хоть часть какую писаний моих прежалостных прочел кто имеющий дар рассуждения, то — отче или мати, сотвори молитву о убогой душе моей, о душе «глаголавшего и не делавшего».

Кто-нибудь подосадует: все одно да одно пишет, жует свою жвачку, отрыгнет да опять жует. Верно! Это потому, что внутренне-ет мой человек младенчествует. Недоносок он, не ходит, не говорит, не смыслит. Исприбился я с ним, только перепеленаю, он опять обосрался...

Вчера, ужинавши, простер к брателку слово о том, что дуб шелестит не как береза, а шум сухой травы опять же иная музыка.

А брателко: «Ох, объявили дрова-то по прошлогодним талонам. Какие хитрые! Где искать талоны эти? А новых до января дадут... Объявлено. Чем топить? Осень пришла...» Я и разинул пасть: не о том-де сокрушаешься, не о хлебе-де едином... О многом-де печешься. И к черту я его, и к матери, и извод бы-де тебя, дохлого, взял, жить-де мешаешь... Он пал на койку-ту, лицо ручонками закрыл. Я на крыльцо вылетел, еще деру поганую свою глотку... В четыре утра он встал, к поезду.

Я все Север хвалю — тем торгую. Но Север — родина, дом,— те годы там — лишь заставицей расписною, золотой былик книге жизни. А жизнь-та вся с брателком прожита. Чувство беспредельного уважения, преклонения и благодарности, с чувством самой рыдательной любви, неутолимой жалости, денно-нощной тревоги о его здоровье — вот что меня и держит и укрепляет, но и разоряет, но и ломит за мое неустройство, за мою неисправность.

Брателко и сегодня укатил в Москву. Ночь-ту я караулю: не утренний ли свет? Нет, все еще месяц светит. Березы-те что бумажные! А и встали: не часы ли, думаем, вперед убежали: долго темно. Нет, в пять пастух затрубил, и к шести быстро рассвело. Утро прекрасное, кабы не головная боль. Брателко, умываючись, вопит со двора:

— Скорее на улицу иди!

С запада высокий месяц светит, а с востока утренняя лазорь. Свет так пречудно меняется. И долго так свет зари утренней с ночным светом месяца, как Иаков с Богом, боролись. Восхожее солнце красными лучами стелет низко меж деревьев, по сухим осенним травам сквозь тоненький туманец, а месяц все над лесом стоит, бледный, одинокий. Один остался без ночи. Люди проснулись, а невнятный ночной сон забыл потеряться. И сон и явь, и сияние зари, и лунный свет встретились. При первых красных лучах дым от костра золотой в лес пойдет, а приподымется солнце, и дым будет голубой... Низкое-то солнце березы окрасит, и оне что свечи пасхальныя. Утро было мудро, птицам на разлет, добрым молодцам на расход... Петухи редко так пропевают. Птичка тоненько булькает. А я, добрый молодец, пирамидончиком обожравшись и чаю крепкого надувшись, сердечныя капли потом буду пить. А брателко никакого чаю не дождется — «Что мне твой чай», корочку либо картофелину схватит «с солькой» и убежит. А я бачерничать сяду, вздыхать...

Все рыжебородаго, златобородаго, солнцевласаго дума-та хочет величать... Сергия, говорю, Радонежскаго. Он всяко люб. Позднейшие иконники худеньким старичком пишут с седенькой бородкой. На кушнаревских хромолитографиях, большими оне тиражами шли, Сергиё-то вконец больным, измождалым смотрит. На древних

иконах, пущай оне измождали, а как дубы святые-те. А у новейших «богомазов» все как старички больничные. Конечно, у Нестерова Сергий хорош, духовен, хотя тоже сухонькой старичок. А в картине Русского Музея в Петербурге «Сергий Радонежский» он и похож.

— Да ты разве видел его — «похож»?

И видал, и люди видали: свидетельства есть, каков бяше преподобный образом телесным. Брада была большая, густая, златорусая. Власы главные густо же обрамляли высокое чело. При честных, святых и благоуханных костях преподобнаго (кои свидетельствуют, что он был велик ростом), видел я и власы его, как бы пясть золота, или златоцветнаго шелка.

На древних монетах малоазийских сохранился лик Зевса. Тип Фидиева олимпийскаго Зевса. Вот каков был, на кого похож, судя по древним иконам, Сергий Радонежский. Но не тщедушный старичок. И постническая изможденность Сергиева была величава.

Он ходил пешком по Руси. А дорога от Маковца до Боровицкого холма, до Кремля Московскаго, исхожена его стопами многократно. Как солнце, ходил он от Троицы по Ярославской нашей дороге к Москве. Тут все Его помнить должно, Ангела Русского...

В 39-м, в 40-м году, как жил я в Хотькове, все мне там дышало и говорило о нем, «первом игрушечнике». И что узнавал, то я списывал. Много радости насписывал карандашиком...

Кости Сергиевы пресвятые я видеть сподобился и руку целовать. Эти кости — основание твое, Русь Святая. Всяк должен одеть в себе сии живоносныя кости плотью и кровью. Сии праведные, благословенные кости, подобные свещам ярого воску, подобныя корням всесвятого некоего древа, и есть корни твои живоносные, о Русский народ, о Земля русская!

...В Александров день с эстрады вякал два часа. Публика — художники. На улицу-ту вышел: поносит меня. Да, песни пой, избу крой, а шесть досок паси... Худой стал я. От силы на сотню публики меня хватит, а уж на большой сцене опасность. Боюсь, что с воронежскими гастролями одни разговоры.

...«Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

«Ох, думы мои, думы мои, лыхо мене з вамы...» Обрадоваться охота чему ништо! Братишку надо бы от упряжки освободить. Не по силам ему!

Ино мои-то заработки всегда вилами по воде писаны: вспомнят, ткнут в какой-нито концертишко. А не вспомнят, сиди, жди. А здоровьишко худое. Голос кроток стал, звонкость потерялась.

Не порато стары мои годы, а радости в душе, в сердце, в сознании не стало. Видно, не в кованой скрыне хранилось, а в деревянной чашке штяной налито было мое «сокровище духовное». Чашица-та обветшала, трещину дала, сила духа утекла.

На дворе смерклось к пяти часам. Месяц назад к четырем смеркалось.

...Я, нижайший, все в худых душах, вернее, в худом теле. Печку еле истоплю. Ниче не сплю. Лежу, сам себе в уме какой ни-то рассказ рассказываю. Людям-то некогда меня слушать, а мне им рассказывать негде. И я сам себя веселю. От печальных мыслей себя увожу.

1945

...Горе сердцу надвое мыслящу!.. Попажа в церковь трудна, у трамваев мерзнуть, ехать, в церквах нетоплено, а я и дома в шапке сижу. На липовой моей ноге,

на березовой клюке уже сползла бы, с грехом пополам, на Хитров к Петру и Павлу. Но вопят там певчие (сытые) неистово. Уж лучше бы бабы голосили...

В сердце человеческом да в природе Бог-от. Мое сердце у нужды в руке зажато. И никто не вызволит, не пособит мне. Какую же радость себе или людям выжму я от такого сердца?! Граблюсь я за природу. Но как лягушка из канавы, как таракан из щели, взглядываю я на природу. Иное обрадуюсь о ней, дак после оскомина — будто украл что. То неба украл кусок, то серп апрельского месяца на стеклянном небе, то аромат весенней земли, то галочий крик ввечеру. Это ничье, это Богово. А и не мое. Это все дано справным людям. Всем дано, одному не дано — я баню не топил, дров не носил.

В сумерки все поспешаю выползти на улицу. Будто устюжский мастер на старом серебре навел этот изящный тонкий и густой рисунок деревьев. Белые крыши, белый переулок, серый туск домов...

Даже у Тютчева живы и живут в нас, и вечны, и могущественны лишь тема смысла существования, тема Бога, темы философские, также несравненные типические описания природы, картин природы. А темы политические уже отошли. Не трогают нас, сколько бы пафоса ни влагал сюда поэт...

Глубокая и чистая искренность человеческая поражает нас в Тютчеве, в его поэзии и влечет нас к нему. Это был человек-философ-поэт с миросозерцанием цельным и законченным.

Поэт был человеком светским и семейным. Была привязанность и «на стороне». Но печать великости душевной у Тютчева и к дальним, и к ближним.

Человек великого и острого ума, великого сердца, Тютчев был религиозен. Поэтому и ныне все взыскующие Бога не могут не приникать к поэту, творчество которого запечатлено касаниями к миру горнему. Мы не

можем не любить философа, достойно и вправе «горняя мудрствовавшего». Взыскуя Бога, Тютчев далеко не всегда праздничен; просветлен; не часто он славит и хвалит. Когда тоска хватает и жмет многоскорбное сердце поэта, когда сердцем овладевают отчаяние, одиночество, пустота, поэт как бы не находит Бога и в небе, и в природе...

Кого из «верующих» шокируют «срывы» Тютчева, тот еще более соблазнится и смутится несказанной искренностью Евангелия. Например, отношением учеников к воскресению Христа.

Январь месяц... Мороз скрипит. Оконце мое что шубой одето белой. Сквозь узор ледяной ясень брезжит крепкая. Деревья закуржавели. Народишко бежит, утуляя лицо в воротник. Как там воюют дети наши? Михайлушко забежит в шинелишке — согреться не может. А се и нам, старикам, согреться негде...

Брателко по хлеб бегал — ножонки откоченели. Слезы выжимает мороз-от. Тоненькой братишко-то, бледненькой — ни кровиночки, мерзнет. А дома ни картошины, сегодня в рот нечего положить — надо на рынок, пол-литра на картошку сменить. И взмолился братишко-то:

— Матерь Божья, святитель Николае, замерзну я на рынке!..

А из сеней и лезет солдатёнко: «За водку картошки-морковки не надо ли?» Мы и радехоньки. Брателко ликует:

— Бог-де не убог, и Никола милостив!

Хоть несколько дней от морозу поотсидеться. На рынке в холод-от жмутся, трясутся, скачут с ноги на ногу... На рынке картошка 14 р. Нам по 6 р. обошлась.

Как брателко сядет, понуря свою кудрявую головуш-

ку: как-де перевернуться, где взять?— он пригорюнится, и я распадусь... А управит он хоть картошки, хоть на три дня, и я, как глупенькой, развеселюсь. Мы и тянемся так уже не первый год. Братец тянет воз-от. А я такой, я по-реченному: скоморох голос на гудке настроит, а житья своего не устроит. И другое писанье: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Я вот стою разиня рот: что музыку, слушаю звонкие, такие игрушечные галочьи голоса, как они в прозрачной румяности зимнего вечернего неба стадом летают. А у людей, мимо бегущих, целеустремленность дела да комбинации у всех. Тот меня толкнет, другой обругает: стоит дедко, ворон считает. Они правы.

С субботы метель метет. Приятно вздумать: город стал мягкий, белый, нарядный. Часа в три ночи нароком выскочил я на улку. Ни огонька... Серебристо-белый свет от напавших везде — крыши, карнизы, заборы, деревья, дороги — снегов белых, пушистых. Будто и не ночь, а день, только не наш будничный, а день в сказке, полудень-полуночь в некотором царстве. Молча падают снега, все молчит, ждет продолженья сказки. Сказочная свадьба снежного царевича неслышно должна проехать этими уготованными к празднику лебяжьми переулками... Как люди-те уснут, снега устелют дороги, чисто, неслышно припадет — тут сказка и свершится.

Ходил сейчас проведывал чашу мою небесную. Моя чаша, и небо в ней мое. Мне дадеся. И как она разнолика! Сейчас исполняет чашу облак снежен...

Ненаглядна переменчивая, живая красота неба. Чаша моя — абрис неба над московским двориком в виде чаши...

Помню, отец, бывало, сказывал: «На Новой-де Земле на Офонасьев день в полдень светло явится, на часок

светильник погасят зимовщики». Здесь, слава Богу, порядком дня прибыло. Скоро 5 часов, а в нашем подпольице еще можно писать. Только из-за дыму дня не видишь, во всех комнатенках затопимши, на четвереньках жильцы ходят, ребят на улицу выставят. Заросли трубы сажей. С морозов картошка вздорожала: 18—20 р.

«Ярослав мутен сон видел», а я сегодня сон светел видел, дорогого наставника детства, учителя светлаго о. Зосиму. Будто он вошел уже в класс, и ученики стихли. А я по-за двери бегаю, извинительную фразу придумываю своему опозданию... Смущенно подхожу к кафедре, но о. Зосима встречает меня веселым и радостным лицом. Бледный, худощавый, серьезный лик, дышит радостью. Уста, очи сияют улыбкой. Восторженно возликовав о таком расположении учителя, я хочу поклониться ему в ноги. Он удерживает меня, и я целую наперсный его крест и затем ланиту... На о. Зосиме серая нанковая риза, в какой он обычно ходил на уроки.

Я проснулся, уже светало, в комнатенке холодно, тяжело кашлял брателко, видя, что я сижу, спросил пирамидон. Я скорей начал напяливать на себя свои лохмотья. Но радость какая-то светилась еще на сердце...

Люблю писания протопопа Аввакума — удивительное, яркое проявление русского духа. И какая-то нерусская сила характера. Расколоучитель... Мне кажется, в каких-то судьбах своих, в каких-то планах справедливости, Вечный нелицеприятный Судия призрит пламенеющее любовью ко Христу сердце Аввакума. И не пошлет страдальца за старую веру в ад.

Мне кажется, что все веры, преемлющие древлецерковные догматы, предания и уставы, как-то: восточная православная церковь, армянская, абиссинская (а в недрах русской церкви — староверие), затем церковь

римско-католическая,— пусть эти церкви пока не общаются, разъединены на земле, Небесная Правда, Вечный Судия зрит и видит сердца праведников и той, и другой, и третьей церкви. Но я родился в православной церкви, и довлеет мне, и любо мне в ней пребывать.

Итак, трещины, разъединяющие православие и староверие, православие и католичество, не идут насквозь до преисподних земли, но где-то, и не так уж глубоко, исчезают. Где-то, и не так уж глубоко, христианство едино.

Откуда поэт-художник? Что это такое? О чем истинный поэт нам толкует? Тот поэт, кто не почивает на житухе обывательской сытой ли, голодной ли. Мысль поэта имеет «криле позлащение голубини». И любо поэту, когда мысль его в каковом-либо месте, в каковой беседе с единомысленным человеком может привитать...

...В незакатной белой ночи Севера любо «криле-те голубини» расправить, чуда слетать. Там мое радование... Не пуста Россия-та! Люби, храни сердцем и мыслию места-те святые Святой Руси. И не сомневайся, что оне и есть на своем месте...

Тепло и светло на душе, и жить самому легче, и Бога преславишь, как отрясши сон житухин, доброю и здравою мыслью очувствуешь, уразумеешь радостно, какой сегодня день-от...

Соломонидушка, бывало, скажет:

— Ты все дома, как печь. Печи никуда не надо...

— Я, Ивановна, умом летаю, где мне любо. Везде на оконце посижу...

«Разумом молчи, разумом глаголи». Правило основное в быту и премудрое. Живя в разуме, сам себя бережешь и ближнего. Беречи ближнего, войди и в разум сего святоотеческого слова: «Кто себя видит, в брате

не видит». Ежели б мог я себя по-настоящему, каков я есть красавец, увидеть, дак ужаснулся б я. Брат-от ангелом бы показался. А ежели и бросил отругиваться, опомнясь, захлопнул пасть-ту свою окаянную, дак без злобы язык-от прикуси...

Лукавой ведь может подсунуть тебе сознание: «Вот-де МНЕ что приходится выносить! Вот-де что Я терплю!..» Ложно сказано: «Не видал я праведника оставленнаго...» Вот эта собственная бешенина и застит нам глаза, не дает понять, что не мы терпим, не я терплю, а от меня, и только от меня терпят.

Тепла все еще нет. Сухо. Ввечеру сквозь мреющий в небе туманец сквозит молодой месяц. Город, улица, люди живут чем? Война б скорее кончилась, пых бы перевести. Живут страхом: нова б не началась... Живут тем: к пайку б что добавить, безразлично какими средствами — блат основное. Добыть дровишек, ужулить электр. ток, ухватить паек, достать картошки, перелицовать лохмотья, добыть что-нибудь на ноги... Плюс ко всему из строя выходят водопроводные трубы, валятся дымоходы. На этом фоне всевозможны слухи, ожидания, предположения о конце войны, о союзниках, о японцах... что-де будет дальше и т. п. Люди выжаты, измотаны, измочалены. На уме одно: как бы живым вообще остаться. Эта бедственная житуха заботит, трясет, мучает людей...

Уж не воротится эта чудная в году пора — начало апреля. Уж сухо в городе, но еще нет пыли. Еще голы деревья и сквозит меж ветвей блещущая лазурь, а вечерами высоко, в зените неба стоит маленький серп молодого месяца. Утрами хрустит еще ледок в колеях уличных перекрестков...

...Наука века сего с важною миною говорит: у меня все на опыте и точности. Но удивительное дело: сколь скаредны, убоги и жалки у них сии опыты и точности. Мертвое дело!..

Что мне в том, что пересчитала, перебрала ты, «наука», все мои жилы?! Для жизни мне нужна радость. Без нее не перенести мне неизбежных скорбей, бед, болезней. А радость эту ты, «наука», выдергиваешь из-под моих ног, что мост ломаешь через яму. Без радости человеку незачем таскать свое тело. Что мне в теле моем, болеющем, имеющем разложиться? Мне важен дух, поддерживающий, окрыляющий тяжесть тела. Чувства мои должны питаться только радостью...

...Брату говорю: пока сумерки да небо видать, сплаваю переулком. А и опоздал, выскочили электробельма, скрало небо. Я дал задний ход во двор. Но по случаю теплого вечера отворены все окна примыкающего к нашему двору пятиэтажного дома... Тряся одеялом за окно, какая-то Роза кому-то апеллирует:

— А все-таки Эмепшумг есть Эмепшумг. Что?..

Из окна другого этажа несется как бы предсмертная икота: певица изображает алябьевского «Соловья»... Да, пришла весна, там лето... Все, что боялось зимы, пряталось в своих ящиках, вылезло на улицу. Зима без разговоров затыкала рты... Осень всех заставит убраться по своим конурам. Зима одна царствует, белая, звездная, чистая. А лето — оно бессильно в городе. С апреля погано станет: вонюче, оруче, пыльно.

Стою в закоулке двора, где только стены без окон темнеют да неба тихого полоса. Занакрапывал украдкою дождь. А мне стало весело. Да что же я тужу! Разве я прикован?.. Да сядь на трамвай, и вывезет в тихость весеннюю. Велик ли город-от по сравнению с просторами светлыми, где не затоптана, не скована, не заплевана мать-сыра земля. Много лесов, много полей чистых,

тихих. Велики просторы Руси родимой. А се и в городе есть тихий час рассвета, весною особливо прекрасный.

А потом, а главное: «се грядет час и ныне есть», что в себе самом возрастет, откроется, расширится Храм-от светлый. Ты сам будешь храм, ино куда пришел, там и служба божия, там и тишина... Не одолит лязг трамвайный... Самоед, лопарь везде у себя дома. Куда прибежали олешки, там он и расставил свою вежу, и огонь развел, и постели — как век тут жил. Сердце свое сотвори велико, широко, в нем и будешь жить. Телешко твое низенькое, а сердце твое сотворится широко, велико. У тебя пазуха-та что царский дворец будет. В нем ходи да ходи...

Не посетовал на город в это утро. Свежесть ранняя, дышать резво. В Ивановском переулочке особливо хорошо. Подойду да постою, полюбуюсь. Великие облака, что с ночи стояли, на мелкие роились. Барашками небо взялось, что ангелочками. И лазурь меж облак чиста несказанно. Переулочек омытый, камешек к камешку, плитняк чист. Тоненькие веточки еще безлистые на фоне весеннего неба... И воробьи на монастырской стене: «Чив-чив, чив-чив!..»

Один из мудрецов века сего (Д. Бедный) изрек однажды, что все талантливые люди — поэты, художники, музыканты — непременно имеют большой вкус к плотскому любострастию. Сей опыт дебелой плоти противоположен иному опыту. Опыт иного сознания и самопознания, опыт иного ведения предлагает: оставим плоти сладострастие, возрастим души дарования. Чтобы расцвели творческие (единые на потребу!) силы, надо, как одежду грязную, как раз чувственность-ту и сбросить. Пусть человек отдаст долг плоти сладострастию в молодые свои годы, пусть отдаст долг матери-Природе. Этот

хмель пройти должен, разум должен очиститься. До сорока годов пущай хмель-от одолевает, после сорока протрезвится. Очисть ум-от, мысль-ту от хмельных грез. А то и тело уж старое, слабое будет, а привыкшая к молодым сластям мысль и воображенье все еще позорно будут нудить к жалкому разврату немощное тело. Не позорь возраста. Пусть молодость там, в «долине роз», в чашечках своих цветков копошится. Пусть молодость и воображает, что вокруг пола все в мире вращается. Им дальше... и видеть не должно. А уж зрелому-то разуму иные горизонты открываются. Что у юного красота, то у старого срамота.

Трудно бывает человеку перейти малость и низменность телесных похотей, понять, осознать и вовремя им их место указать. Поэзия, музыка, живопись, скульптура как раз внушают, что в плотском сладострастии главная сущность бытия. Отсюда неудовлетворенность, разочарованность, мрачность, пессимизм пожилых людей.

Бывало, как важно держал себя старик, как значительно было его лицо. Недаром вечная книга заповедует: «Перед лицем седого восстани и почти лице старче». Старость стала презренной, уж если не в силах ты молодым казаться, дак тебя и на свалку.

Но эта торжествующая дикость и примитивизм не стоят внимания... Итак, иным венком, чем юность, должна венчать себя зрелость человеческая. Очистивший сердце от мути сладострастия, а через это стяжавший себе и ума светлость, с улыбкой глядит на утехи молодости. Просветленный ум знает, что все это надобно — и красование юности, и утехи брачные, знает это разум и благословляет, но соглядает и простирается к тайнам и глубинам иным.

Из оконца виден день, блещущий облаками. Вчера дождили они, сегодня гонит их резвый ветер, что стаю

птиц. Ребятишки играют на солнышке. А я... будто и не мой день-от, не моя весна... Око мысленное сырым телом обремененное, что из казамата и на праздник глядит. Не мое-де...

Все эти годы страшные, весь груз непосильный житья-бытья доблестно влачил на себе брателко мой. А в эту, 4-ю зиму припадать стал духом, и здоровьишка негде уже взять... Обтрепались, обносились. Война кончилась, будет ли какая ослаба. Газетешку-ту нюхают, да трут, да копают: выжать-то надёжу какую поскорее тщатся.

Я так уж себя и считаю юродом, бездельником: не у чего-де живу, ветры ловлю, за тенью бегаю. Сверстники-те — председатель, при академии, с орденом, дачу и машину имеет; мимо проедет, грязью оконце мое обдаст, не увижу я ни облачка, ни соседнего забора... Что же, неужели в самом деле смолоду-то надо было не лазури небесные соглядать, а что собаке-ищейке носом в землю практически обеспечивающие дорожки вынюхивать?.. Бежать по следу такого хозяина, у которого кока с соком запасена... Конечно, у ... (неразб.— *ред.*) верный нюх, знают, где жареным пахнет. Давно у тех окон сидят, хвостом виляют. И много их. Теплая компания. Овсянку с мясом им дают. Сахару на нос положат, скажут: «Пиль!» Они фокусы умеют показывать... Нам так не уметь.

Ложью век пройдешь, да назад не воротишься. Умирать все будем. Тошно будет при смертном-то часе. Для чего-де жил? Исполнил ли то, что тебе задано было в жизни? О чем сердце смолоду горело, к чему живая душа твоя рвалась, то куда ты дел? Вот что при конце-то жизни совесть спросит. <...>

Весна идет, на сердце все прискорбно, неустройно

житьишко-то. На мели сижу. Никто с мели не сдернет. Нужда братко держит, не вывернешься. Горе-злосчастие — свет из очей теряется, долу меня гнет. Извне веселье — весна идет, а внутри меня нету радости. Знаю, что она должна быть во мне, сердце мое — ларец, и положена была в него радость, да ключ теперь теряю часто, не знаю, куда засуну, память худая.

Голодуха, скудость во всем, лохмотья всех наокруг одолели. На сытых и одетых глядят жадно, завистливо. И всеобщий, всеодержимый, единственный у всех идеал и смысл существования: урвать и мне свое от жизни. 10% сыты, пьяны, и нос в табаке. 50% воруют напропалую. 40% из кожи лезут, колотятся-бьются, не хотят подыхать. В деревне идеал: огородишко... еще козу купить... Мечта и тема разговоров: пара башмаков, хоть одна на всю семью. Событие: получить брюки, рубахи, платьишко бумажные... Жить надо, как вор на ярмарке вертеться. Под лежач камень вода не подойдет. На дом к тебе никто за твоим товаром не придет. Не расхожий у тебя товар-то. На любителя...

...Человек века сего удачливый ли, неудачливый ли, спокою не ищет. Ежели он много нахватал, дак знает, что и зависти самой лютой в окружающих породил, и все окружающие в ложке воды его такого ловкаго утопить рады. И с опаской, с опаской он хватает. Ему и ночь не спится. Посмотри-ка на счастливчика сего света, как у него — чуть что — глазки-то забегают опасливо. Во время чумы-то пировать, ох многодельно и заботливо!..

А что мне около мертвых псов стоять, вонь пропащую слушать да про падаль сказывать?! Знатно, что в нужнике, окроме дерьма, нет ничего...

Сегодня валаамским преподобным Сергию и Герману праздник. Как бы золотую ризу накладывает на житейский день праздник, память святая. Особенно любо мне, когда с Севера родимого, от светлых озер и дремучих лесов в заповеданные дни года идет и светит, будни наши озаряя и согревая, преподобный оный и блаженный свет... Сергий и Герман Валаамские, основавшие обитель Преображения на озере Нево, в первые века христианства русского, благодатно жили и в века последующие. Каким огнем сиял свет иночества на Валааме, доказывает век XIX...

Нонешние времена из правил вышли. Еще Златоустый сказал, что можно спастись и в городах...

Теперь «дом отдыха», «дача»... А бывало, чем красно было лето в моем родном городе... Город стоял на водах — порт, близ моря. Мало кто ездил «на дачу», но семья хоть раз в лето собиралась «на богомолье» — к Соловецким, к Антонию Сийскому, к Ивану и Логгину Яреньским, к Вассиану и Ионе Пертоминским... Особенная жизнь, особенная природа, особенный быт, не наши интересы и разговоры, не наш уклад, жизнь, не боящаяся смерти, и смерть, как праздник. Жили в монастырях люди умершие для радостей мира, но как тускнели и умалялись радости мира перед святым иноческим житьем. На Соловках у многих из наших горожан были родственники-монахи... и уже как бы в чине ангела почитали мы, например, материна двоюродного брата монаха Иустиниана.

Омытыми, новыми возвращались мы из обители. И привезенные из обители образки, картинки, ложки, посуда, книги, просфоры — так это потом любо было...

Кто-нибудь подмигнет мне и скажет: «Знаем мы монахов — абие-бабие», «игумен вокруг гумен» и т. д. И я отвечу: «Всякой находит, что ищет, всякой видел в монастыре то, что он способен был видеть, что ему было

дано видеть. Всяк видел то, что хотел. И жемчужну кучу разрывая, ухитрялись «навозное» зерно иные любители находить.

Липы мои, что через дорогу, за оконцем, поредели; ветер гонит желтый лист. Точно и не было густолиственной купы. Неба стало много видать, чему я рад. Вчера к сумеркам брел Ивановским, Подкопаевским переулочками. Подойду да постою. Гляжу, не нагляжусь: старая стена уступами вниз, одинокий купол и высоко, высоко в тихом небе реденькие облачка. Тихость коснется души и ума. И там властна эта тихость неба. Больше она толчков и пинков, властнее шипа, свиста и машинного лаянья...

Говорят, война кончилась... Нет, мир сей, век сей, житуха наша — война нескончаема. О мире сем древле сказано: «Человек человеку волк». Воюют люди друг на друга люто и неустанно. Схватились в своей «борьбе за жизнь», и разве мертвые отвалятся один от другого. Каждому надо урвать свое. Одни бьются и колотятся для того, чтоб ухватить корку хлеба для ребенка или покрыть хоть тряпицей какой трясущегося зимою брата, воюют, плача и проклиная, чтоб ухватить ломоть да снести его в тюрьму, больницу сыну, мужу, отцу... А эти вот сражаются остервенело, чтоб удесятерить запасы вин, хрусталя, пополнить коллекции всяких редкостей и драгоценностей...

Полезнее вспомнить: «Если, обличая кого, придешь в раздражение, то свою только страсть утолишь...»

Трудновато человеку поднять себя за волосы. Трудно исполнить: «Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим». Надо исполнить! «Да отвержется человек себя». Из самого себя надо выскочить. Надо за дурной сон вменить себе все, что в мире сем видишь, надо заставить себя проснуться, очнуться...

Дни сухие, солнечные. Свежий ветерок. Вечером так желто-призрачно. Вечерняя заря глядит мне во все оконце. Деревья напротив скоро последний лист уронят, а мне любо от этой прозрачности. Того для и люблю я деревья весной до пышного листа, до «соловьев» (с Фетом мои вкусы не сойдутся), и осенью, и в самый листопад. А «пышное природы увяданье», вообще всякая «пышность», и даже летняя,— «с это меня не станет». Какая картина прославленного мастера заменит мне мое оконце. Из старинной, не менявшейся со времен Павла I. рамы глядится ко мне и в низенький покойчик то зима, то лето. Как я люблю, когда белая скатерть застелет перекресток, на который глядит наш дом! А весной — что зеркала, протянутся лужицы талого снега. Вот сейчас по бледно-зеленой гаснущей заре взялись розовые облака: завтра будет ветрено.

...Часто употребляют фразу: «Доброе старое время». Но и в «доброе старое время» во всех ли людях светился свет?..

Обращая мысленный взор в прошлое, а я, например, люблю глядеть в девятнадцатый век, ибо там все мои корни и все заветное мое, я люблю соглядать там «жизнь живую», то, что не умрет, люблю знакомиться, и знать, и жить с людьми, кои были современниками дедов моих...

К такому «прошлому», вечно живому, я люблю приникать, думая о своей родине.

...Один добрый человек, умный, ученый, образцовый семьянин, два сына у него было — надежда и утешенье родительское, этот человек в беседе говорил: «Монашеское умиление и просветленность... хм... что же в этом, какой смысл?.. Человек живет для детей. Смысл жизни и счастье человека в детях. У меня растут дети — вот мое умиленье и просветленность, моя радость. Семья, дети — вот стержень и мудрость жизни. Я гляжу на

моих сыновей, и я — царь! Я Бог! В детях моих основа моего жизненного тонуса, моего творчества...»

Это было пять лет назад. Оба его сына убиты на войне. Недавно я встретил этого ученого. Его и жену. Она в свои 50 лет кажется девяностолетней старухой. Он прям, продолжает говорить о своей науке, но временем забывается, молчит, уставясь в одну точку. Идет по улице — лицо каменное. Инженеры-сослуживцы с уважением говорят: «Какой стоицизм, но какая пустота в глазах. Он стал мертвый...»

Скажут: «Что уж ты все древних-те людей хвалишь, чем они такие отменитые?» Да! Древность и, скажем, средневековье — это была юность, молодость человеческой душевно-сердечной, умно-мыслительной восприимчивости и впечатлительности. Древний человек несравненно был богат чувствами, воображением, памятью. Ныне одряхлел мудрец. Мало радуют ныне «специалиста» его знания. Будто кляча с возом...

До осязательности живо, как бы наяву, предстает мысленному взору то, чем сладостно жил в годы отрочества там, на Севере, на родине милой. Места по Лаереке временем вспоминаются каким-то садом Божиим. Река Лая, таинственная в тихости сияющих летних ночей. Протяжные крики ночных птиц, всплески рыб... Тишина ночи, сияние неба, подобные зеркалам озера в белых мхах, плачевные флейты гагар... Или днем: лесная тропинка, бор-корабельщина, меж колонн, благоухающих смолою паче фимиама, цепь озер, отражающих нестерпимое сияние неба. Некошеные пожни-луга, цветы, каких московские и не видели. На лугах, на полянах малинник: ягод некому брать, а я боялся змей, пока не скосят траву...

Круглое тундряное озеро (чарус) с плачущими гага-

рами лежит в версте от Лайскаго дока, где мы жили. Мимо озера к деревне Рикасиха идут и едут берегом Белого моря (Летним) в посад Нёноксу. Четырнадцати годов я живал в Нёноксе. Посад отгорожен от моря дюнами: с колоколен видать воздымающуюся над горизонтом высокопротяженную стену черно-синих вод. А шум и как бы некий свист моря слышен в домах днем и ночью, при ветре и без ветра.

Вкруг Нёноксы ячменные поля, пожни-луга с синими цветами, холмы, покрытые белыми оленьими мхами, и всюду-всюду так нарядно, как бы в садах, рядами и кругами богонасажденный черемушник, рябинник, малинник, смородинник. Из ягодника вылетит нарядная тетера и сядет поблизости. Зайцев тех летом не трогал никто.

Уж ягод и брать некуда: корзина полна морошки, туес полон малины, а все идешь: места открываются одно другого таинственнее по красоте. Круглая сухая поляна белаго мха, по белому моху синие крупные цветы — колокольчики, незабудки и великолепный папоротник в пояс человеку. Поляну окружает стена розовой ольхи и рябины. Пройдешь эту стену (под ногами несметно черники), и уж в глазах золотится полоска жита (ячмень), в жите поет птица «симануха». И тут же непременно речка в белых песках, непременно журчит по камешкам. Речка прячется в папоротнике, в ягоднике или, отражая высокое жемчужное небо, изогнется меж среброшистых холмов «высокой тундры». Сколько звезд на небе, столько в архангельском крае озер. И речки наши серебряные текут меж озер и через озера. И с этих озер, куда бы ты ни зашел с ранней весны (с постов великих) до поздней осени, крики птицы водяной слышатся днем и ночью. Слаще мне скрипки и свирели эти ночные крики птиц, музыка родины милой... Лебеди, когда летят, трубят как в серебряные трубы. А гагары плачут: куа-уа! куа-уа! куа-уа!

Далеко от посада не уходил, все в глазах держал высокие шатры древних нёнокских церквей. Иногда в тишине белой ночи поплывут звуки заунывного колокола: кто-нибудь в лесах, во мхах заблудился из ягодников. На колокол выйдет.

«И страна моя Белая Индия преисполнена тайн и чудес»,— поет о Севере поэт Клюев. Удивительное, странное и сладостное состояние овладевало мною иногда, среди этой природы, в этой несказанной тишине. И любил я ходить один, а не с ребятами-сверстниками. Какая-та сказка виделась воочию. В те годы, сначала на Лае-реке, потом в Нёноксе, выходя из возраста детства, впервые вглядывался я в окружающий меня мир Божий. И самыми сильными, самыми разительными были непосредственные впечатления северной природы.

Нёнокса было место удивительное, там еще царствовал XVII век, в зодчестве, в женских нарядах, в быту. Художник, любитель старины, эстет зашелся бы от восторга. Красота старины северной пленила меня навсегда годов с шестнадцати (Николо-Карельский монастырь). Но красоты природы могущественно, таинственно и сладко начали пленять мою душу с девяти годов.

В р. Лаю впадает лесная речка Шоля. Отец брал меня, малого, туда на охоту. Мы вставали на заре, я трепетал от счастья: Шоля, покрытая белыми кувшинками, стада чирков — мелких уточек, все это было для меня путешествие в сказку. Всюду воды, всюду на веслах или с парусом. Воды северных рек прозрачны. О, как я любил соглядать подводные эти страны. Помываемые глубокими течениями леса водорослей, похожия на косы русалок... Серебряные рыбы меж зеленых кос, раковины. О, как любо было, купаясь, нырнуть в яхонтовый этот мир да оглядеться там на мгновение.

Воды всегда шепчутся с берегом, а в карбасе с парусом встречь волнам — то-то у вод разговору с кар-

басом остроносым. И в Городе у пристаней, бывало, где много деревянных судов, суда поскрипывают, вода поплескивает: то-то молчаливая беседушка.

Я ни зверя, ни птицу не стрелял, я смала в белые ночи рыбку любил сидеть удить. Ладно, ежели на уху свежей достану, а я за этим не гонился. Озеро или Лая-река в июльскую ночь как зеркало. Всплески рыб, крики птиц, тихое сияние неба, сияние вод... Сидишь на плотике и боишься комара сгонить, чтоб не упустить какой ноты чудной симфонии северной ночи...

Гребу утре в важнецкое учреждение, а «начальники», на прием к которым гребу, без шапок летят на улицу, в машину садят ММ. А этот ММ в молодости в дружбе мне клялся, гостил у меня. А теперь навряд узнает. Надысь, впрочем, два пальца подал: «Ну что, старик?..»

Пришел домой, разгоревался я на нужду свою неизбывную. Плакать мне над собою али смеяться?!

Человек уносит с собой на тот свет только духовную свою сущность, только моральную свою цену, только нравственную свою стоимость.

Все страшнее и страшнее становится жизнь рода человеческого. Уже не знают, знать не хотят, что добро и что зло, что смрад и что благоухание, что свет и что тьма. Правда, любовь, красота, честь, милость, прощенье, мир Христов, радость, вера — все потоптано, забыто. Счета нет истинным негодяям, преступникам, мерзавцам. Но несть числа и «ни добрым, ни злым». Они сознательно зла не делают, да и добра от них никому нет. Человек века сего нередко от младости до старости гоняется за личными страстями, увлекается науками-искусствами. Около такого человека компания подобных ему. И все ловят жалкие, мишурные блестки скоротлимых ценностей, «мышиное золото» века сего. «Ученый»,

«писатель», «художник», «артист», иной какой «деятель» празднуют юбилей за юбилеем: 50 лет деятельности, 80 лет со дня рождения. Всерьез-невсерьез шумиха, суетня человеческая около всех этих «делов», а вопросы «правды вечной», а вопросы «смысла жизни», добра и красоты, завет «взыщите Бога»— где все это?

Дни короткие, по-нашему, по-северному, зима уж... Снег нападает да стает. Вчера лужи, сегодня выморозило: сухо без снегу. Туск небесный быстро смеркнется, а все, где увижу меж домы деревья, особливо старые, ветвистые — и не могу досыта наглядеться, усладиться рисунком сучьев и ветвей, так чудно вырисованных на туске небесном. Кабы мне прежние глаза, только бы я и рисовал, только бы и отводил бархатистую черноту ствола, пальцем бы вывел могучий изгиб... Потом сучья, и это ненаглядное, нарядное плетение веточек. Сумерки спускаются быстро, и нежныя кисти веточек, как шелковыя нити на атласе, соединяются с небом. Чувствую неслучайность древесных изгибов и извитий. Дерево слушается солнца, ветров, дождей, сообразается с широтою усадьбы...

Конец месяца (сегодня 27-е), дак на мели сидим. Братишко ломает голову, я покорно-тих: делайте со мной что хотите...

Все применяю к себе горестные слова нашей деревенской хозяйки: «Что уж, какая у меня душа красивая, а лицо, как куричья жопа». Мое бы дело какую ни есть работу хватать, где палец протянут, там за всю руку хвататься, а я с прохладцей. А люди — отскочи на пядень, они отскочат на сажень. Не знаю я, что у людей на душе, на сердце: бегут ли с кошолками, топчутся ли на трамвайных остановках или у булочных, продавая паек... Диапазон моих знакомств узок, но нет-нет да и получу приглашение на «вернисаж», на «творческий ве-

чер», «выставку». Среди «голи и моли», которой надо же где-то забыться от очередей, от холода, от нужды, от грязи домашней, разглагольствует полдесятка «взысканных».

В пятом часу уж темнеет. Брел бульваром. Высь небесная еще прозрачна, хотя и облачна, а за домами низкое небо дымно-свинцово...

В Николин день звенел морозец; вчера и сегодня сыро, лужи стоят. Брателко неделю хворал, я не у чего, около себя разорялся, пропадал. Тут поманило заработком, выколотил я малую толику, планы пловал: вот-де заживем!.. Но и опять захирело. «В людях много милости (много??), а вдвое лихости».

Опять то же: «Садка день не зовут на почестен пир, другой не зовут на почестен пир...» Ну, ин ладно, ты, Садко, ежели не о деньгах, дак возьмись опять за свой промысел: о Боге возвеселись!

Давно я оттерт от «пирога-то». Удачливее меня много лизоблюдов. Видно, они зазевались: «Позвали Садка на пир» (у черного крыльца постоял!). А я и о парадной прихожей возмечтал...

...В родном городе, в музее, было множество изумительных моделей старинных церквей, домов... Была нарядная утварь в виде зверей, птиц. И я, еще подростком, наглядевшись, налюбовавшись, точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя дома резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музее. Сказка, волшебство творчества заражает, вдохновляет, подвизает художника к творчеству.

Тихий зимний день, белый дворик, серо-фаянсовое небо, бесшумно кружащиеся белые пчелы; время точно остановилось... Творческое счастье охватывает тебя. Вот она, сказка о заколдованном Городе... Святые вечера,

святые дни. Далече будни. Ныне время наряду и час красоте... Как бы матери голос слышу, поющий северную старину-былину:

Королевичи из Кракова
сели на добрых комоней...

А пушистые хлопья кружатся над Городом и неслышно ложатся в снег.

Да, святые вечера над родимым Городом: гавань в снегах, корабли, спящие в белой тишине... Над деревянным городом, над старинными бревенчатыми хоромами, над башнями «Каменного города» так же вот без конца кружатся белые мухи. И падают, и падают. И уже все покрыто белой, чистой праздничной скатертью. Святые вечера. «Во святых-то вечерах винградчики стучат...» «Виноградие» — северная коляда. Сколько сказок сказывалось, сколько былин пелось в старых северных домах о Святках. Об Рождестве сказка стояла на дворе: хрустально-синие, прозрачно-стеклянные полдни с деревьями в жемчужном кружеве инея. И ночи в звездах, в северных сияниях... А по уютным многокомнатным домам тепло, «как сам Бог живет»... Тут-то бабки и дедки сыплют внукам старинное словесное золото... И в первый день Рождества мужчины-мореходы ходили по домам с серебряными трубами, славили Христа... Бородатые почтенные мужи. А для «святочных вечеров» женщины вынимали из сундуков и парчу, и жемчуга нарядов XVII века, фижмы и робы елисаветинских мод и фасонов.

Но что вспоминать детство?! Сказке нигде не загорожено. Вот она прилетела с Севера сюда и заворожила...

1946

Есть совсем «простые сердца»; потребностей, кроме как попить, поесть да поспать, нет никаких. Эти «простые сердца» даже кино не интересуются: ведь там ничего не дают. Есть опять сорт голов пустых, но которым требуется чем ни то заполнять эту врожденную пустоту. Поверхностная щекотка нервов в местах общественного пользования вроде всезаполняющего кино их удовлетворяет. Публика поцивилизованнее, интеллигенты,— этим нужен театр, лекция о научной сенсации и т. п. Эта интеллигенция всерьез, но без разбору, интересуется литературой, поэзией. Какой бы хлам ни выбросил рынок, эта «культурная публика» живет этими «новинками». У всех у них пустыя сердца, пустыя умы. Но они чем-то непременно должны заполняться, заполняться извне — книжонкой, газетой, киношкой, папироской... Иначе — невыносимая, нестерпимая пустота, скука, тоска...

Есть люди тонкой психической организации, они любят музыку. Они знатоки и ценители ее... Но где-нибудь в лесу, в хижине они не могут долго пробыть. Нужны внешние возбудители.

А между тем у человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя сила, собственное богатство. Человек должен светить из себя.

В человеке, в самом себе должна рождаться естественно, могуче и светло музыка. И когда ты, человече, остаешься один, ты можешь услаждаться скрипками и арфами, своими мыслями и чувствами. Великая внутренняя содержательность, внутреннее солнце, звездное небо, дивная музыка внутри себя заставляла инока бежать в пустыню, в лесную дебрь, на необитаемый остров. И все вокруг для такого отшельника было царственно-радостным, все было для него насыщено

содержанием благодаря богатству внутреннему. Творческая содержательность внутри себя может быть свойственна, скажем, и талантливому поэту, и ученому века сего и мира сего, но творческий порыв современного поэта не выше «потолка», доступного аэроплану, а «глубина» исследований современного ученого зачастую инфернальна.

Я упомянул пустынников. Но и везде молитва, дар молитвы есть дивное проявление внутренней содержательности. В нашем доме, здесь, жила порвавшая с семьей из-за «старой веры» поморянка Соломонида Ивановна. Она любила быть одна в своем сыром темном чулане под лестницей... Молилась по уставам, по правилам, с лестовкой. Молилась по праздникам одна, ночи напролет. Как светло ее лицо, какие радостные струились слезы: «Весь ты, Спасе мой, радость! Нет тебя, Господи, краше!..»

Это не значит, что, ежели внутри тебя поет птица райская, ты непременно должен особиться. Ты, скажем, арфа, а он скрипка, а у третьего виолончель, а тот вон труба сладкогласная: ежели бы вы сошлись, не составится ли чудный симфонический оркестр?! Таковы бывали обители.

Слушал Реквием Моцарта. Чрезвычайно сильное впечатление. Произведение барочного стиля и в то же время выше стилей и эпох. Солисты слабы. Понимают ли они латынь? Во всяком случае религиозного воодушевления нет. Но музыка потрясает. И эта священная латынь сама по себе ходатайствует к Великому Судии, хотя бы и произносима была неумелыми, может быть, и равнодушными устами.

Реквием исполняется концертно. Это как бы ожерелье из драгоценных камней различной формы. Они не скреплены для слушателя священнодействованиями

богослужения. И все же впечатление единое и мощное... Точно грохот разбиваемого вдребезги мира слышится. Слышатся вопли рода человеческого, припадающего к Грозному Судии. «Когда поставятся престолы, и книги разогнутся, и Судия возсядет...» — поет церковь восточная. Восток ниц повергается, моля «неосужденно предстати усопшему к страшному престолу Господа Славы». Восток умиленно и сладостно, и тихо поет над новопреставленным: «Со святыми упокоит Христе душу усопшего раба своего...» Скорбь и радость в дивной этой песне Востока, певаемой над мертвым. Когда ее поют, ниц лежат близкие, родные отошедшего, и печаль облегчается токами слезными.

Латинская месса Моцарта (глупый конферанс возвещает, что эта вещь «выходит из узких пределов культовой музыки») требует милосердия, мольбы с угрозами, молит, потрясая кулаками. Наша панихида, как тихая заря золотая, уносящая преставившегося к свету невечернему. Здесь моление бурею подымается к небу... О, какая сила, какое дерзание в заупокойной службе у Моцарта! Эта музыка конгениальна псаломским воплям Давида, который столь же грозно судится с Богом. Но ведь и Вечный говорит: «Придите и стяжемся!..» И Запад стяжается с Богом в этой музыке над бездыханным безгласным трупом: «Не дал ты ему поцарствовать на Земле, так дай ему небесное царство!» Но Восток, видя светлое лицо отошедшего брата, поет о чудных краях, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания...

В капелле, расписанной Микель Анджело, где фигуры грозных ангелов клубятся как облака, где Судия так неумолим, как уместен моцартовский Реквием.

Реквием Моцарта... Ряд солистов временем маловыразительны, не волнуют, хотя и старательны, как при-

ходской хор, разучивший сложную вещь и заботящийся лишь о том, чтоб не спутаться. Но музыка, орган и оркестр великолепно передают всемирную трагедию Страшного Суда. Мощно звучит и хор с органом, с смычковыми инструментами.

Страшный Суд... Какому гению под силу такая тема? Только древнему церковному пению. Но наяву и то, что и творчество индивидуальное, творчество гения, такого, как Моцарт, может так же мощно брать за сердце и исторгать слезы.

Смала был я любитель рисовать, красить. На то и учился, падая по цветам древнерусского стиля. Любителем навек остался. Потом былинами и сказками стал управлять. На том коне и еду. Но не интересна мне автобиография эта. Никак! Главное: чем душу питаю. Зрение утекает, как из утлой посудины вода. Прислушиваюсь к музыке. За целые века много тут дива положено. «Светская» европейская музыка. Не только оперетки, но и большинство опер... Верди, Бизе в XIX столетии... Но и Рахманиновы, но и Скрябины, думается мне (я еще не вникал сюда), не для меня. Но говорить об операх и судить... не своим я тут товаром торгую. Я вот на сем свете несказанно, невыразимо люблю природу. У Римского-Корсакова в музыке есть картины природы. Есть у Глазунова, скажем: «Четыре времени года». Вот сюда мне хочется внимательно приникнуть. В такую «светскую» музыку. Ведь я люблю и народные песни «весенния», и стихотворения о весне, осени, зиме, положенные на музыку.

В молодости я мало думал о том, что восприятие природы у художника, у композитора может быть непосредственным и живым. Интересуясь древней церковной музыкой, я мало думал, что природа, вечно

юная, хвалит Создателя, и композитор, любящий природу и отображающий ее, так же, как и тонкий живописец-пейзажист, сам хвалит Творца. И мне, если я мало и отчасти уже касаюсь рисунка, мне можно и должно искать свое желание и в музыке...

В музыке русских композиторов надо мне подслушать, нет ли там мною любимого — тонко-тусклого, сребро-прозрачного неба, голых весенних веточек и этого: «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...» Рахманиновская музыка на эти стихи мне не нравится. Светлой грусти весенней нет в этой музыке.

Не забуду одного дня. Мы жили в деревне. Был сияющий, солнечный ветреный день. Я сидел на широкой поляне под дубом, древним, раскидистым. Свежий ветер правил по небу ряды злато-белых облаков. Как корабли, они плыли от норда к полдню, как корабли, блещущие парусами, кидая на поля бегущие тени. Ветер свистел, веселяся в вершине дуба, но нижние сучья с вырезными листами были недвижны, казалось — сам златокузнец Челлини вычеканил их из бронзы, вычеканил и вызолотил.

В руках у меня был Платонов «Федр», я читал о вещем священном дубе близ Афин. Под сень дуба в полдень приходил Сократ, и в этот час нисходило на мудреца божественное исступление...

В этот сияющий день, в этот час бегущих облаков, когда эолова арфа ветра пела в бронзовых ветвях прекрасного дуба, когда сердце и ум трепетали, радостно внимая вечно юным и вещим глаголам древнего мудреца, я сладко ощутил, узнал и увидел: вот здесь, вот это и есть невыразимая слабыми моими словами — «слава Отцу и Сыну и Святому Духу!»

«Приди Лице, бегущее от человеческаго постижения»,— вопиют к Духу уста светлого мудреца наших

дней. «Дух дышит, где хощет». Не знаешь, когда и куда Он приходит...

Сегодня опять слушал Моцарта. Симфония «Юпитер». Музыка величественная и веселящая сердце. Музыка растет в душе, «как сокол ширяся на ветрах». Величество нарастает. Сердце веселится, как птаха малая, взмывая над облаки, в лазурь. Дух-от захватывает, не может птаха навеселиться...

И Моцарт, и, к примеру, Штраус оба были людьми светскими, оба выступали в салонах. Моцарт любил оперу и был блестящим оперным композитором, как, например, Верди, Гуно, Бизе. Но, слушая Штрауса, представляешь себе венские роскошные гостиные, великолепные танцзалы. А Моцарт выше своего времени, он парит выше европейских столиц. Не прикладываю музыку Моцарта к русской природе... Но инде соединяется с этой светлой музыкой сердце...

На концертах серьезной музыки видишь много людей, пришедших в концертный зал не потому, что «все будут», не для встреч и развлечений, но чтоб послушать любимые произведения. Многие из этих людей вне религиозных переживаний, не думали о Боге. Переживания, связанные с музыкой и вызванные ею, являются здесь эквивалентом молитвы. У людей же, взыскующих Бога, здесь я разумею и церковных людей, музыка приводит, подвизает к молитве. Во всяком случае независимо даже от намерений композитора может вызвать настроения и чувства религиозные.

Морозов боимся: одежонка плоха, да и такое мокро—горе: калошики забыли, когда и были. Снег с дождем. Я выплыву из крыльца в лужу, ну и домой. А брателко в матерчатых башмачонках в снег и в воду... Светик мой, доброхот.

Через два дня неделя мытаря и фарисея. Заслышим уже недалекую поступь поста, издали донесется бряцание постного кадила... Еще масленица не была, но в церковных службах уже слышим фимиам «святых постов», как дальний зов постного колокола, звучит песня «покаяния отверзи ми двери»...

В свое время писал работу, принята была, но не пошла в ход, не опубликована была, и время и обстановка затеряли ее. И я махнул рукой; не в подъем мне эту работу протаскивать самому. А о том, чтоб кто могущий помочь, с мели дело это сдернул, смешно и думать: есть у меня горький опыт. Сегодня узнал я, что некто таковую ж работу представил, но несравненно в виде гораздо более слабом и худшем, по сравнении с моим трудом. И этот конкурент мой, как имеющий сильные связи, схватил большие деньги.

Что же мы-то с брателком колотимся, а все нищие... Как же еще до сильных-то людей добиваться, лизать их или за пятки по-собачьи хватать?

Побродил по улице: снег, слякоть... Все немо. И я взял, открыл от Иоанна, словеса Христовы к ученикам после тайной вечери. Он говорит Петру: «Душу ли свою за меня положишь? Петух трижды не пропоет, как ты отвержешься меня...» И сразу пало на сердце: Сыне Божий, ведь это **мне** он говорит!

Бог да добрые люди пособляют на ноги встать. Только ноги-ти охудали порато. Завелася толкотня с деловыми людьми. Вижу рвачей, привыкших брать помногу, брать спокойно, важно и бессовестно. Они сумели так наладить жизнь, что к ним тысячи сами текут в карман. Сколько достоинства в их лицах, сколько подобострастия со стороны окружающих!.. Опять вижу хапуг, которые хватают с визгом и руганью. Эти тысячи-то свои тоже схватят, но достается им не без беготни, не

без хлопотни. Около тех и тех кормятся «люди молодшие», не сумевшие стяжать имени и лавров, людишки вроде меня.

Это я об артистах глаголю...

В один вечер слушал и Реквием Моцарта и «поэму на смерть сына» одного поэта «из ведущих». Вот — два полюса. Тут о смерти, и там о смерти. Тут мировоззрение, и там нечто вроде. Здесь скорбь как орел возносится, скорбные очи орлиные соглядают солнце, и миры, и века. Скорбь веры, рыдая об усопшем, поет хвалу Вечному. Господь даде, Господь отче,— буди имя Господне благословенно вовеки! У христианина скорбь плывет на крилех орлиных выше неба и выше времен и веков. Рыдая, хвалит Вечнаго. Рыдая над усопшим в «надгробном рыдании», поет верующим ликующее: «Где твое, смерть, жало?!»

А у сего «гада века сего» рев звериный, унылый, страшный. Точно в ящике забитый бьется человек. Материт убивших сына: «сволочи», «убью!..» «Ваши сыновья блядуны, безносые, воры, жулики... Мой любил кино, радио, спорт, уважал девушек!..» Какой жалкий тупик. Жалкий Реквием сыну.

«Красота спасет жизнь»,— говорит Достоевский. Чаще всего здесь под именем «красоты» разумеют искусства: музыку, поэзию, живопись. Ныне меньше всего занимаются философией своего искусства сами профессионалы — музыканты, поэты, художники. Тут, у профессионалов, деньги и честолюбие — единственный двигатель творчества. Халтуры во всем 99%.

Бескорыстно, «для души» любят «искусство» потребители. На концертах «серьезной» музыки я чаще ценю публику больше чем «рвачей» — исполнителей.

Не поспел на ноги встать, удачливый (и талантли-

вый) пианист, скрипач, актер, а уж он об одном только думает: как бы коллег своих перегнать, за один вечер в пяти местах гонорар сорвать.

Меня не интересуют эти «жрецы искусства», честолюбивые и всегда алчные. Меня интересуют люди, «живущие» музыкой, поэзией, посетители концертов, почитатели поэтов...

Жизнь наша, жизнь большинства — «юдоль плачевная». «Пусть человек, иже жив будет и не узрит смерти». А пока жив — болезни, потери близких, старость, всякие несчастья и неизбывные скорби... Конечно, в час скорби ты не пойдешь ни в кино, ни «на Дунаевского» и т. п. сор. Но сердцу и душе скорбящим смертельно что дадут и красоты Штрауса, Верди, Бизе?..

Ты выберешь, конечно, что-нибудь подходящее к настроению у Чайковского, у Рахманинова, у Глинки. Ну, они заставят тебя слезу пролить. А дальше что? Ведь вот и в крематории «музыка играет» вещи классические, подходящие к моменту, «когда мертвого садят в печь», но не сожигающие ли, не испепеляющие ли душу слезы вызывает эта музыка?

«Массы», простодушный обыватель музыку ассоциирует с развлечением. Музыка и кино — лишь бы «рассеяться».

Вопрос о музыке, как о чем-то большом и нужном для жизни духа, не ставится не только среди «простых масс», но и среди рядовой «интеллигенции»...

У народа была своя исконная музыка, пронизывающая быт, делающая его праздничным и как бы благословляющим. Были у народа поэзия и музыка, в которых человек рождался и умирал. Семью, род эта бытовая музыка удовлетворяла. Эстетическая ценность этой музыки безусловно велика. Возвышенно настроенные умы и сердца эта поэзия, бытовая, не удовлетворяла. Этим душам орлиного полета подавала руку поэзия и

музыка вселенская, надмирная, поэзия и музыка вечная.

В дедовский наш быт с его неповторимой красотой нам уже не влезть... Но над этим, столь любезным сердцу нашему бытом, вечно пребывало зиждительное Творчество, вечно пребывала Мысль и Мудрость... Не поскорбим, что исконная красота старинного быта выветрена сквозняками века сего. Вековой, песенный уклад дедовской жизни был как бы дитятею. Он должен был вырасти «в мужа совершенна»... Все народы имели свою национальную красоту. Век сей — «прогресс и цивилизация» яростно устремились на отцовские уклады жизни. Но народы успели стяжать себе щит и оружие — христианство. Оно выше быта и национального уклада.

Бог — творец, Бог — художник, Бог — поэт... Поэзия, философия, музыка, театр, пляска нисходили древле на людей от Творца-Зиждителя, который есть начало истинного творческого вдохновения. Так было в библейской Иудее, в Египте и в Элладе. Пророк и царь Давид «скакаше играя». Исполнение трагедий у эллинов было богослужением. Христианская литургия есть трагедийное действо о Боге страдающем и воскресающем...

Век сей и мир сей унесли с собой только шелуху, только красивую скорлупу праздественного пафоса жизни.

Творческий гений человека имеет божественное начало. Пафосом божественности, пафосом религиозного творчества пронизаны и одержимы были некогда не только поэзия, музыка, философия, но и медицина, и история, астрономия...

И слагатель песен, и драматург, и философ, и врач, и художник одинаково отдавали себя в служение божеству. И труд их, имея начало в Источнике Жизни, в Боге, был на великую пользу людям.

Бог Аполлон и музы — «богини свободных наук» для христианина лишь аллегории. Но здесь глубокая истина, глубокое проникновение, высокое знание истоков творчества, светлая озаренность разума древних людей.

В Элладе, в Египте театр был храмом. Музыка, поэзия дивно и всепраздственно сознавали свою божественность участвовать в трагедиях — мистериях, петь, играть, плясать в музыкальных действованиях значило соприкасаться с божественными началами.

Живыми и свободными были «искусство и науки» древних, древним дано было величайшее веденье: все окружающее — небо, звезды, земля, реки, деревья,— все живо и имеет разум.

Провидение тайн древними чрезвычайно туманились кровью, похотью плотскою, похотью мужескою. Творческая радость древних, даваемая им прозревать великое, отуманена была буйным хмелем еще не зрелой молодости.

Очень многие мифы Эллады являются пророчественным прозрением или прообразом истин христианства. Все эти сказания о том или другом цветке, дереве, реке не являются красивой поэтической сказкой. В этих «сказочках» о цветах, птицах, ручьях — важное и глубокое проникновение в суть вещей.

Холодный норд с ночи стал торкаться в ветхие наши оконца. Земляк мой северный ветер — первому мне весть подает, с первым со мной здороваться прилетит. Чтобы-де не забывал родину. Где забыть?! В дни страстной недели особливо и животворно возвращаюсь к юности. Сильно и всеодержно переживались там, на родине, светлые, благодатные дни.

Таинство страстей Христовых неизреченно, но неизменно совершается в эти великие дни. Детство и юность, когда душа еще не ослаблена грешной жизнью,

остро и непосредственно касались невидимых потоков таинства страданий и воскресения. И это приобщение чуду осолило всю последующую жизнь.

В дни юности на Пасхи я как бы действительно надевал «одежды брачные», а потом пошли годы... Волей или неволей я «ум растлил, тело осквернил, душу погубил». Полсотни лет прожил... Как проспавшийся пьяница, одурело осматриваюсь: борода и ус в блевотине...

Чтобы таинство, силу и угодье наступивших, жизнеподательных дней ощутить и быть живоносному всемирно совершающемуся таинству причастником, надо умыться слезами умиления, покаяния. А вот грех-то жизнь-та, проведенная как попало, в слабостях, в праздностях, в унынии, в празднословии лютые оставляет последствия... Грешное тело и душу съело. Опали крылья у души, у мысли, у впечатлительности. Так вот и «в смерть» можно уснуть. И «враг» посмеется над всеми «упованиями»... Когда-то воспрянет душа моя и явит дело, а не будет растекаться в словесном балаболе?!

Господь говорит устами Златоуста: «Отдал ты дьяволу юность и силы, дак ныне хоть трясущиеся твои кости мне отдай!» И недаром поет Давид: «Возрадовавшая кости мои!»

Гёте, капризничая, как дитя, не хотел видеть, что младенчествовать, веселяся над игрушечным «роем богов родимых», нельзя было без конца роду человеческому. Я говорю об эллинах, об их «рое богов». Но и у нас, русских, как и у народов романских, германских, был свой «рой богов родимых» — русалки-наяды, лешие-сатиры и т. п. Но примитивна была наша мифология. Не долетала до заоблачных высот Платонова мировоззрения. Но платонизм был вершиною, с которой видна была уже лазурь христианского неба.

Но и высокая философия (языческая), как и языческая народная религия, не могли бы уже бороться с тем роковым и неизбежным положением, что «мир во зле лежит». Человек, которому Зиждитель дал свободную волю, избирал, чем дальше, тем чаще зло. Зло усиливалось соответственно тому, как усовершалось о Христе добро.

Если бы не пришел Христос, никакой свет давно уже не светил бы, давно уже все было бы объято тьмою «мира сего».

Жизнь на земле должна была усложниться, люди, печали, несчастья, скорби должны были возрасти, умножиться. Наивная, детская религия с «роем богов родимых», что могла бы пользовать в дни века сего, как и чем отирала бы она море слез, тоску и скорбь человека, стонущего посреди «прогресса и цивилизации», когда «науки» занялись изобретением смертей...

Вчера упомянул я интеллигенцию, людей, не лишенных в той или другой мере духовных потребностей. Они считают, что потребности духа современный человек может удовлетворять в музыке, в художественной литературе (проза, поэзия), в научной работе и т. п. Но масштабы, но горизонты наук и искусств, равно как и философских учений, приемлемых современным человеком, ограничены узкими рамками «мира сего»... И эта «серьезная» музыка и поэзия, которую только и приемлют «серьезные» люди века сего, не более как «рой богов родимый», который беспомощен в вопросах смысла жизни, в вопросах смерти и бессмертья, в вопросах о смысле страданий.

Оставим ученых, изобретателей смертей, и не ко всякому произведению будем предъявлять непосильных вопросов. О, род человеческий: у воды стоишь, а пить просишь...

Поэты, художники, люди, отдающиеся музыке, философы... им свойственно вдохновение, «муки творчества». Эти люди ощущают счастье. Их можно сравнить, но и нельзя сравнивать с людьми, совершающими таинства церковные, и с людьми, участниками таинств веры. Нельзя сравнить, п. ч. у поэтов и «певцов» века сего все «похоть плоти и похоть очей», все у них житейское, все у них лишь поднятые на ходули будни. Все у них матрацы на пружинах, надутые воздухом шары; все у них самолеты на нефтяном «горючем». Чудо творчества века сего вещь малая, очень отвлеченная, относительная, вещь частная. Поэзия, философия, музыка, свободные художества, науки, все, чем мнят «творцы» века сего украсить, возвысить, осмыслить, объяснить, облегчить жизнь,— все это не может претендовать и не претендует на то, чтоб быть или стать всемогущею силою, всеобдержимым чудом, чудом, которое властно над жизнью и над смертью.

Мне скажут: почему ты «жизнь в церкви», религию сравниваешь, применяешь к поэзии, к творчеству художника? Ведь религия занимается «добрыми делами», делами любви, служением человеку и т. п., не верно ли применить «церковность» к общественно-полезной деятельности?

Я отвечу: конечно, никто и ничто не в силах так, как Церковь, отереть всяку слезу от лица земли. Общественно-полезными учреждениями являются и кассы взаимопомощи, и дома призрения, и приюты...

Поздний вечер, а за домами стоит еще тихая заря. По переулкам в весенних лужах отражается золото неба и деревья. Тишина ранней весны над городом. Она могущественнее городского шума.

Днем над грузными унылыми домами небо столь хрустально чистое, лазурь бледно-голубая, в легких, как

кисея, барашках... Стоишь, забудешь, что твой трамвай подошел... Какая тишина блаженная там, за городом. Тишина полей, еще не просохших... Грачи прилетели...

...Видно, я впрямь старею, все брюзжу. Не вижу хорошего, только неладное на сердце садится. Одно на уме-то: выйти бы в поле, в леса. Здесь... во все стороны от машин озираешься, через рельсы скачешь, а в трамвае жмут, опять ждешь «транспорта». В великий четверг еле я под автомобиль не попал, ушибся, братишку напугал.

Мне б хотелось где — меж Хотьковом и Троицей тихонечко брести... Михайлушко сказывал, речки там разлились, тишина стоит, только потоки инде светло шумят. Радонежские холмы в золотистой прошлогодней травке-отаве, тоненькие беленькие березки, тихое небо...

Говорят: счастье в нас, а не вокруг нас. Да. Но бывает, задохнется радость твоя в городском-то гаме и лязге, в пустошном балаболе...

Термин «богоискательство» вышел от сектантов или придуман интеллигентами-богоискателями.

Я смолоду не раздумывал над вопросом: есть Бог или нет? Бытовое православие было стихией. О вере особенно не рассуждали. Наступил пост, посильно постились, а потом радовались празднику. И праздники, понятие святых, церковные службы, поклоненье святым местам, обители, мощи, чудотворные иконы — все это озаряло и просветляло, украшало жизнь. Быт земной просвечивал небом. Я не рассуждал, есть ли Бог? Лет с семнадцати меня страстно занимала мысль: которая вера права? Старая, дониконовская, или «новая», в которой я крещен. И много лет сердце мое склонялось

в сторону староверия. Жил я в северном городе, где народ вообще уважает старину... Много лет страсть к древней иконописи и к древнему церковному пению, любовь к старому обряду были моей жизнью, слабохарактерность (это ли?..) помешала мне перейти к старообрядцам.

Прошли годы... Род человеческий по всей земле стал терять Бога. Встает вопрос не о том, кто прав, католики ли, восточные ли наши, реформисты ли, а вообще вопрос о том, как под напором атеизма воинствующего уяснить себе и людям, что потерять Бога — лишенье роковое, ведущее к страшным последствиям для души человеческой.

Годы мои, беды да печали и меня с ног скачали. Я стал понимать, что такое «взыщите Бога».

А для многих, многих вопросы о Боге, о смысле жизни, о смысле страданий стали «устаревшими», отвлеченными. Эпоха-та трясет людей как лихорадкой, все вызнобила, выдула. Прокормить семью, вырастить ребят, «заиметь» копейку на черный день — это стало так сложно, что ни у кого на всякие вопросы и времени нет.

Когда вопросы о Боге, бессмертии случайно коснутся современного человека, то эти вопросы для него заведомо решены современной наукой. Есть ли теперь люди, или среда, где бы, как бывало, стали страстно спорить о Боге... Налетом холодного пепла покрыт этот «вопрос» и «эти вопросы».

А нет ли горящей искорки в этой золе?.. Есть! Ты, современный человек, равнодушен к «вопросам религии». Тебя даже раздражают «эти темы». Ведь наукой все доказано!

А тепло ли тебе или холодно, что «наукой» все доказано? И что это «все»?! Как ты ни строй каменное лицо, а люди вкруг тебя и везде по лицу Земли воют

от скорби, от болезней, от лютой неправды, от равнодушия всех ко всем. Беги, хватай, рви, борись, грызись. Чуть ты ослаб, тебя стопчут, и нет тебе, слабому, милости... Наука, прогресс, цивилизация — эта «тройка удалая» безразлична к добру и злу. Ты уповаешь на «науку», ты козыряешь ее достижениями, уже не сознаешь, что пока что самыми показательными делами современной «научной» мысли явилась страшная военная техника, от которой, пожалуй, и древний Ад и Смерть содрогнулись.

Итак, если тебе не двадцать лет, если ты не кормишься от этих кровавых, палаческих, душегубных «наук», если ты кое-что выстрадал в жизни, ты не будешь уповать ни на технику, ни на физику, ни на химию. Ты скажешь: эти науки можно повернуть на пользу, например, сельского хозяйства. Ты скажешь: сейчас атомная бомба разрушает «грады и страны», а может быть, когда-нибудь ученые одним выстрелом вспашут десять га земли... Вот видишь, насколько слепо, глухо, немо, бездушно это чудовище: сейчас она в одну секунду стерла в кровавую жижу целый город, а завтра — какая радость! — завтра или через сто лет эта кровомесилка изготовит клумбочку под цветочки...

Ты скажешь: ну ладно, есть наука астрономия, например, она не убивает никого... Друже! Что мы будем перечислять предметы и дисциплины всех институтов и университетов?! Когда горе тебя возьмет да сердце зажмет, не помогут тебе ни телескопы, ни микроскопы. Ты опять скажешь: медицина помогает во многих серьезных случаях... Медицина нужное, необходимое и доброе дело... Но и микстура и порошки и капли — все до поры до времени в общем и целом. Врач телесный тогда в состоянье помочь своим искусством, когда дух наш бодр. Посмотри: как повально все подпали под душевные и нервные болезни. Стар и мал, и не

только голодные и раздетые, а и сытые — одетые «ни весть с чего» поголовно болеют нервно-психически.

И вот у человека не стало внутренней жизни. Душа современного человека не томится «желаньем чудным». Это живая смерть. Это — живые мертвецы.

Но, может быть, под этим мертвенным холодным пендом есть живая искра?

Тютчев, который весь был «желанье чудное», говорит: «Растленье душ и пустота, что гложет ум и в сердце ноет... Кто их излечит, кто покроет? — Ты, риза чистая Христа!»

Есть в мире Добро — Бог, и есть Зло. В душу, в сердце, в мозг, оставшиеся без Бога, непременно входит Зло.

Зло — дьявол пустил род человеческий в погоню за материальными благами, за земными почестями. Страшная эта бесовская погоня родит войны... Земля залита кровью... И...

слезы людские, о слезы людские,
неисчислимые, неутомимые,
льетесь вы ранней и поздней порой...

Бездушный, немой идол науки и прогресса не отрет этих слез!..

Праздник сегодня у родимого Белого моря...

Родина моя!.. Еще и реки не расплenились от ледяных оков, а уж веют горные ветры, шумят, падают ручьи. По заберегам у рек плавает гагара и чайка; и гусь прилетел, и серая утица. Еще плавают вкруг Святого Соловца тороса ледяные, но праздник восходит сегодня над островом, над его берегами, тихими озерами, как светлая весна...

Мирские люди и раньше простодушно думали, что уйти от мира, постричься — это облечь и тело и сознанье в какой-то безрадостный траур. Мир никогда

не понимал, что истинные иноки оставляли мир от избытка радости духовной.

Есть и такие христианские учения, которые толкуют, что монашество — это-де себялюбие. Надо-де оставаться в миру, помогать людям. Надо-де жить, как все, завести жену, родить детей. Надо-де, живя своим домком, проповедывать слово Божье. Будет у тебя... хозяюшка в дому, что оладушек в меду, и — тогда толкуй на полном ходу о Христосе, о Голгофе...

Время показало, что мир сей самохотно и самосильно будет затыкать свои уши...

Помню, я еще подростком был, богатый рыбопромышленник Окладников тужил в разговоре с моим отцом:

— Поехал на Варзугу по семгу. Приворотил к Соловецким, на Анзеры на часок, да и прогостил там неделю. Каждодневно ходил к старцу в пустыньку. Избенко об одном оконце, на пню, что на курьей ножке. Гряда репы. На себе крашеная ряска — вот и все именье. Я говорю: «Не велико твое богатство, отче!» — «Больше твоего»,— отвечает. Посадил меня на порог избеночки своей: «Гляди!» Гляжу: тишина спустилася, ночь светлая, белая... Келья-то на горке, леса по увалам вниз сбегают, а наокруг, сколько глазом достать, морская гладь сияет. Вдалеке монастырь над водами белеет. И над всем, над всем несказанный свет небесный. И тишина, разве чайка крикнет, гагара сплачет, комар запоет... «Отче, говорю, у Вас целый день богомольцы толклись, Вам отдохнуть надо». Он смеется: «Изо сна не шубу шить. Зимой высплюсь. Миряне-то свои дела распутывать сюда ко мне приносят. У того с женой неладно; та детей жалеет; этого по службе обошли... Придут: «Отче, расчавкай с нами, как нам быть? Тебе с горы виднее». Я сам и с женой живал, и в чинах бывал, полсотни годов в такой ли суматохе

вертелся... По убогому своему опыту, по совести потолкуешь с мирянами-то... Хлебца подадут, я ребятам отдам: зимою трудники — ребята молодые из монастыря прибежат дров поколоть». Месяц дома не был. Приезжаю: запутались без меня. Жена и старшие дети с сердцем с таким встречают, приказчики с недоуменьем — привыкли, чтобы я воз-от вез, впереди бежал... Доверенный в банке акции вовремя не продал — убыток большой; старший сын с певичкой гуляет, выманил у матери деньги и глаз домой не кажет; на Мурмане трески пятьсот пудов сквасили: суденко с солью непогоды задержали. К дочке, дурехе, актеришко подскакивает: невесть кто и откуда. Вот и скачи во все стороны, и рвись на куски... Что мне, что костюм на мне аглицкий да к столу ренское подают... Кругом пустые люди, и я с ними один пляс пляшу... Нету мира душевного, нету радости! Вспомню старца-то анзерского и всплачу: «Ох, отче, отче: насколько ты богаче, насколько счастливее меня!..»

В детстве, приплывая в обитель Зосимы и Савватия, любил я и дивился настенным изображениям из жизни преподобных... У себя дома я старался зарисовать соловецкую живопись по памяти.

Более новою стенописью, но по-своему очаровательною, и глубоко содержательною, соловецкие монахи украсили и прекрасную свою церковь в нашем городе «Церковь соловецкого подворья».

Когда «открыта» была Новгородская икона, отошли в сторону музейно-ювелирные представления о древнерусской живописи, существовавшие в России, скажем, до Выставки древнерусского искусства в 1913 году.

До тех пор почему-то с представлениями о древнерусском искусстве связывались или «фотографии Барщевского» (чеканка, орнамент), или «боярский стиль»

(картины Шварца, Маковского и др.). Васнецов, Нестеров, «Абрамцево» подвели к «новгородской» иконе. И вот точно завеса упала с глаз: увидели и удивились. Увидели искусство как бы другой планеты. Искусство светлое, широкое, «простое», но как бы искусство иного мира, даже иного народа. Четыре столетия, отделяющие нас от XIV—XV веков, веков расцвета русской культуры, чрезвычайно изменили характер художественных восприятий народа.

Но не о древнерусской живописи собрался я сейчас говорить.

Новое, великое и чрезвычайно своеобразное искусство «новгородское» ведь одна из граней жизни той замечательной эпохи, столь отгороженной от нас. О той эпохе, или эпохах, мыслим мы или схемами и хронологиями учебников истории, или приходят на ум, если мы хотим представить живых людей, исторические романы XIX века: Загоскин, Соловьев, Мордовцев, также оперы: «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», «Чародейка», «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Снегурочка»...

Историческая беллетристика и «историческая» опера XIX века могут быть сами по себе хороши, изобличая таланты авторов, но историческая беллетристика — это почти сплошная фальшь. Также картины Маковского.

Но я ушел в сторону. Все они, и романисты-писатели, и живописцы, включая Васнецова и Сурикова, и музыканты, включая Мусоргского и Римского-Корсакова, показывают нам XIX век, с середины которого началось «возрождение национального русского искусства» в живописи, и в архитектуре, и в музыке (только не в литературе), все они показывают только свое представленье о жизни и людях Древней Руси. И в этом их право.

Может быть, здесь в чем-то мы видим Русь XVII ве-

ка, даже XVI. Но подлинного лика удивительных эпох «Новгорода», «Радонежа», «Андрея Рублева» здесь нет.

Теперь, после «раскрытия» икон, мы видим, какою была живопись, столь связанное с жизнью и бытом, столь почитаемое искусство.

Мы говорим: «Вот оне какия, эти жизненныя святыни наших предков! Какая она странная, и непонятная, и прекрасная душа наших праотцев, отобразившая себя в этих картинах на доске. Как все это, говорим мы, не похоже на привычные наши представления о Древней Руси...»

Итак, мы видим икону, то, что было прижато у сердца древнерусского человека. Но в такой же яви, в такой же непосредственности и подлинности, столь же осязаемо и ощутимо мы не видим, как жил с этою иконою человек XIV—XV века. Лик иконы выдвинулся из глубины веков, а люди и дела, с которыми икона жила, остались в туманной дали преждебывших времен.

Жития русских святых, исторические документы, документы юридические, также эпистолярная литература Древней Руси — вот что, при умении видеть и слышать, может оказаться крыльями, которые перенесут тебя в ту эпоху и поставят тебя на ту землю, на те дороги, по которым ходит интересующая тебя жизнь и люди. В особенности важны «жития», как произведения фабульные, связные. Они дают картину яркую и подлинную. К великому сожалению, до нас лишь в немногих случаях дошли первые редакции житий, представляющие собою непосредственные записи с уст самовидцев и очевидцев.

Литературные вкусы XVII века, любовь к «краснословию» и «плетению словес» подвергла переработке драгоценные подлинники житий. И все же наша лю-

бовь и внимательность увидит там живых людей и живые дела. Историк Ключевский, как никто, сумел увидеть и умел показать живую эту жизнь.

Ночью, стоя под липою, люблю глядеть сквозь ее ветви на небо. Сквозь ветви небо кажется особенно близким и пасхальным. Летом дерево нарядится в пышные веники листвы. А сейчас так чудно на облачном небе нарисован узор ветвей. И тонкий рисунок кружевного плетения весь унизан и преукрашен крошечными крылышками младенцев-листочков.

Вчера слышал музыкальную эту «поэму» о Рафаэле, которого кардинал клянет за привязанность к Форнарине, даже сзывает народ, чтоб все видел, что натурою для прославленных мадонн служит художнику земная краса. Народ сбежался, кардинал отдергивает завесу с картины, только что оконченной... Музыка, рисующая негодованье кардинала, шум толпы, прерывается... пауза... И начинает звучать возвышенный гимн Царице ангелов, Таинственной Розе, Единой чистой и благословенной... Где там земные черты Форнарины... Божественный, исполненный царственного величия, но и кротости неизреченной, глядит на толпу, преклонившую колена перед великим созданием Рафаэлева гения. Восторженно молится чудному лику Богоматери и сам кардинал. В музыке и словесном сопровождении этой «поэмы» много оперно-итальянской ариозности, довольно слащавых и шаблонных эпитетов: «блаженство любви», всяких ахатей, но все же... хорошо!..

Иконы, почитанье икон, поклоненье иконам... Век я любил, чтобы лики святых были в комнате, никогда не прятал их, век теплю лампаду. Не так давно, придя от обедни, на что-то разгорячась, произнес перед брателком тираду. Что-де мне иконы! Доски и краски. Я сам их не одну сотню написал! Я-де Бога чту, а не

иконы... Обедню-де, литургию божественную, когда-де ангелы трепещут и херувимы лица закрывают... А в эти страшные минуты бабы кучами лазают по церкви, толкаются к иконам со свечками, лижут-де иконы, стоя задом к алтарю... Священник возглашает: «Твоя от твоих...» Хоры поют: «Тебе поем...» А бабы гудят: «Какому там... мою свечу поставили?!! Я велела Ипатию, зубному целителю...» Старухи-де в обедню зевают, спят и оживают только тогда, когда заводится молебен Ивану Воину или об обретении украденных вещей. Какому-де образу молиться от какой болезни знают, а насчет великих действований литургии — хоть кол на голове теши! Редко кто колена преклонит в момент пресуществления, а в целом толпа... не смыслит... и не спросят, и не поинтересуются!

Брателко меня выслушал и, помолчав, тихо сказал: «Иконы ругаешь... А я всегда готов приникнуть к лику Богоматери, кроткому, скорбному...»

Братец у меня тоже запальчиво любит поговорить... И я подивился тону его слов — тихому, задумчивому.

Лик Матери Божьей на наших русских, заветных, старых иконах скорбный, милостивый, в сердце наше смотрит. Как же святой, заповедный этот лик не любить...

Когда в Европе началось столь справедливое и полезное увлеченье художниками раннего Ренессанса, Рафаэля многие похулили. От него-де пошла болоньщина, барокко и т. д. Для нас, восточных, правду сказать, далеко не все его мадонны что-нибудь говорят уму и сердцу. Хотя, например, «Мадонна в креслах», круглое «тондо», перешла даже в народную нашу иконопись под именем «Трех радостей». Картину эту копировали ростовские финифтяники (XVIII—XIX века). И все-таки это прекрасная дама с довольно холодным лицом. Но лик

Сикстинской Богоматери (Дрезден) божественен. И несомненно, что великому художнику были откровения; конечно, душа Рафаэля касалась мира горнего.

Полна тишины и молитвы икона-картина Эрмитажная.. Богоматерь как бы в мафории. Она держит молитвенник, в который смотрит младенец. Вдали весенний пейзаж...

С конца XVIII века русский человек навык молиться иконам западного пошиба. Но насколько сильнее радеет наше сердце к древле-преданной, родимой, завещанной от святых отец иконописи греческой и древнерусской! Прекрасный, скорбный, непостижимый лик Владимирской Богоматери — искони запечатлела этот лик Русь Святая в своем сердце, в сокровенных тайниках души народной. В лике Владимирской иконы русский народ искони видел идеал лика богородичнаго. «О, пречудная Царица, Богородица!..» — ликует песнь-тропарь, сложенная в похвалу именно этому лику. Сколько высокопоэтических сказаний, чудес, легенд сопровождают почти тысячелетнее пребывание на Руси этой заповедной нашей святыни. Былинный запев: «Высота, высота поднебесная! Глубина, глубина, океан-море!» — просится на уста, когда встанешь перед Владимирскою иконою и взглянешь в Ее лик. И тут дрогнет сердце и встрепещет благоговейным восторгом: перед этим самым ликом изначала своего бытия молилась и плакала Русь моя...

Высокое выражение скорби в иконах Богоматери навсегда полюбил русский человек. И в бесконечных пространствах России, в деревнюшках, затерянных среди дремучих лесов, всегда увидим мы умиленный и скорбный лик «Заступницы Усердной».

Русская народная молитвенная мысль чтит Богоматерь, как «в скорбях и печалях утешение». В любимых и заученных народом песнопениях богородичных непременно встречаем: «Молений наших не презри в скорбех...»,

«...перед пречистым Твоим образом со слезами...», «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды...», «Призри благосердием, всепетая Богородица... исцели души моя болезнь», «Душу мою помилуй, благая!..» «Притецем, людио, к тихому сему пристанищу...», «Моленье теплое...» Наконец название одной из любимейших икон: «Всех скорбящих радость».

Идея «Богоматери Умиления» и «Богоматери Скорбящей» слилась в русских иконах воедино.

Древнейшая византийская иконопись изображала Богоматерь в царственном величии (мозаики), сидящею на троне, стоящею с воздетыми руками — «нерушимая стена». В течение многих веков и западное искусство, находясь под обаянием греко-восточной культуры, следовало типу византийских икон. Итальянская живопись раньше других стран Европы начала придавать изображениям Святой Девы земную «человечность». Что дальше, то больше западную религиозную живопись в изображении Богоматери занимает тема «матери и дитяти». Здесь зачастую нет не только «догматичности» греческих икон, но нет зачастую и ничего возвышенного, никакой глубины. Тут просто миловидная дама с пухлым ребенком. Сзади помещается пожилой супруг (Иосиф).

Мадонны Мурильо, мадонны Болонской и т. д. школ — это салонные картины. Святая Русь не могла молиться этим приятно-сладким картинам...

Древняя византийская иконопись отличалась торжественностью, монументальностью. Но вот перед нами станковые иконы XI—XIII веков. Уже здесь мы видим тип богородичной иконы «Умиления». Ошибочно утверждали исследователи, что Италия из учениц Византии превратилась быстро в ее учительницу, что Италия внушила нежность и лиричность типа Пресвятой Девы. Византия самостоятельно переживала свой Ренессанс в XI—XIII веках.

Как бы то ни было, «умиленность» ранней итальянской иконописи к XVI веку перестала отличаться от типов светской живописи.

Западные, изображая Св. Деву с младенцем, изображают семейное счастье. Тем более тут всегда присутствует и Иосиф. У нас обручник на иконах Богоматери не изображается. А Она, Царица Небесная, глядит с иконы, как бы привидя страшные грядущие судьбы рода человеческого. И отрок, припадая к лицу Матери, как бы стремится утешить Ее.

«Когда на земле дети мать обижают, на небесах Матерь Божия горько плачет»,— говорит русский народ.

Два дни ненастье с дождем, вчера и со снегом. Однако бульвары, палисаднички городские приоделись в тонко-прозрачное, нежно-зеленое кружевцо.

Дождь с ветром, ползет трамвай бульварами. А в окна на фоне серых домов, как нежно-шелковая кисея — весенние деревья. Потом все закроется махавками листьев, а теперь не налюбуешься досыта изящным рисунком сучьев и веточек, приубравшихся в нежную прозрачность весенней зелени, как невеста под венец.

Есть книга для юношества: «Чудеса природы». Изображены огнедышащие вулканы, ниагары, пропасти, баобабы, фундуклеи, карликовые деревья, одним словом, что чуднее. А истинное чудо природы, на что надо учить детей любоваться,— это благоуханная нежность клейких листочков, вербных барашков, барашков сначала серебряных, потом золотых. Надо, чтоб дети почувствовали красоту белой весенней березки, как невесты, украшенной сережками

Вечно меняющееся весеннее небо нашей Руси... никогда не устанешь на него любоваться. ...Узорно, как бывает только весною, серебрились облака. Легкий узор открывал два глубоких синих просвета: с юга и с запада.

В южное окно строго и молитвенно, как одинокая свеча в храме, теплилась яркая звезда. В окно с запада сиял серп месяца.

То ли не чудо, этот «блакитный» терем во все небо. И два узорных окна в голубую бездну. И два света небесных — звезда и месяц, поставленных на этих окнах светить Земле. Древнерусские художники видали и запечатлели для нас такое небо...

Долго не гаснет тихость апрельского вечернего неба. Но под домами назойливые мелькают суетливые электрические огоньки. Как мыши, блестя глазками, шмыгают вдоль бульвара машины. А подымешь лицо: над верхушками весенних лип, над городом — тихая заря, а с востока, где небо смерклось к ночи, стоит месяц...

Вспомянул Сергия Радонежского и обрадовался...

Отщепенцы, гордясь и надмеваясь, называют себя «духовными христианами». Эх, не форси, сектант, в пустом-то кабаке, без денег-та! Немножко поучись да подрасти, приникни к истории Церкви... Сергий Радонежский не духовен?

И что есть та духовность? Поразительное дело! Все отходившие от Церкви люди не понимали искусства. Им чуждо чувство красоты. Лютер, Кальвин, всякие реформаторы, наши сектанты довольствовались кодексом прописных моралей, а в сущности, были заядлыми рационалистами. Недаром католические апологеты говорят, что из-за спины Лютера выглядывает антихристова физиономия Штрауса.

Помянул Сергия Радонежского и возрадовался...

Блаженное искусство Святой Руси чудно помогает нам (и не достигшим каковы-либо меры преуспенья духовного) жить с Сергием и радоваться о нем по нашей малой мере. Посети Радонежскую землю. Ты увидишь

холмы, то покрытые лесом, то пашнями. Узенькие реки отражают серебристо-облачное небо... Если ты любишь Сергия, любишь Святую Сергиеву Русь, мысленное око твое радостно увидит и Его: с деревянным ведерышком Он подымается в гору, серебряные капли падают на сухую глину. Вот Он поднялся на взлобье холма, поставил тяжелое ведро на землю и глядит в долину: леса без конца, синяя даль сливается с небом. Сергий тонок и изящен станом, но плечист. Лицо его постнически бледно, но лик ангела едва ли может быть столь же прекрасен...

Сейчас игумен любуется лесною прекрасною пустынею, что бескрайно простерлась у его ног. Но сердце Сергиево непрестанно молится, и от непрестанного действия сердечной молитвы эта непостижимая вдохновенность лика, этот серафический божественный пламень в очах в час литургии: «Сергий причащается огнем».

Весенние грозы трепещут временем в светлом лике игумена Радонежского. Когда игумен совершает литургию, он бывает весь как серафим пламенеющий. Это видели, знали и засвидетельствовали ученики святого. Но богомольцы простые, но дети чаще видели простое, благостное, умиленное лицо игумена. С ласковой улыбкой благословлял он ребенка и давал ему деревянную птичку-игрушку.

Разум, волю и власть и грозу видели в лике игумена, власть и грозу слышали в Сергиевом обличительном слове князья, готовые изменить общему русскому делу в борьбе с татарами.

Из нескольких избушек состояла обитель Сергиева при жизни его. В посконной сермяге ходил игумен, а праздничная иерейская его фелонь-риза была из деревенской крашенины. Ходил в лаптях, лучина, дымя и треща, светила в церквице, которую сам же Сергий и срубил. Но великие князья и бояре, военачальники падали ниц, в землю кланялись «нищему игумену нищей обите-

ли». Таково было сияние святости, всепобеждающая нравственная сила, духовная красота, нравственная чистота, таково было блистание разума в слове и совете Сергия. Уклоняясь от всяких почестей в убогой своей дремучей пустыньке, Сергий был (и остался на все века) совестью Руси. Такова была моральная сила, нравственное величие, обаяние личности радонежского пустынника, что пред ним склонялись и праведного его гнева боялись земные владыки, воины-князья.

Когда орлиные очи сего Ангела-Хранителя России закрылись на земле, когда он стал небесным заступником народа русского, могущество Сергиева имени засияло еще ярче. «Как печать положу тебя на сердце своем»,— сказала Русь своему возлюбленному отцу.

Сергий Радонежский... наша весна, вечно юнеющая, благодатное утро Руси Святой, наше возрождение, наша радость неотымаемая! Блаженное имя Сергиево как весенний цветок распускается в сердце, озаряет ум, окрыляет мысль. Сергий преподобный, заря русская, звезда утренняя. Имя Сергиево, освящение ума, радость мысли, сияние памяти, веселье духовное...

Я не ждал, не гадал, а братишечко мой управил мне летнее пребыванье за городом, вблизи леса, в хорошем доме. В глазах вся красота небесная. Рядом лес-«заповедник». Войдешь как в церковь: тихо, листва шелестит, в светлом сумраке птицы посвистывают... Думаешь: во сне видится. И комната светом налита до самой ночи. Я давно отвык в таком сиянье жить. «Не к роже кокошник...»

Печаль неизбывная на сердце. Никак я не вправе «благорастворением воздухов» услаждаться. Братишечко мой здоровьем добре хрупок, и не исходно у меня в сердце слеза дрожит. Не о том, дак о другом прискорбно.

Он побежит в Город-то: «У тебя цветнее лицо стало, я рад. Ты поешь без меня. Ты в лес-то сходи». А сам как травинка, колосинка тонок да трепетен.

Причитать-то я мастер, только делом пособить меня нету.

С брателком вычитали мы ряд исследований — Милле, Диль, Айнагов, Покрышкин и др. об искусстве Сергиевой эпохи на Руси, о византийском Ренессансе XIV века. Все вот думалось: XIV век, дремучая, лесная Русь... А на самом деле — какая культура расцветала по Европе восточной и западной! Готика, ранний благоуханный Ренессанс, Джотто, эпоха Палеологов, Феофан Грек, Рублев. Не примитивы, а блестящие вершины, завершения прекрасного константинопольского тысячелетнего искусства. Чудные цветы христианского искусства Малой Азии, Балканских стран, перенесенные на Русь в эпоху Сергия Радонежского...

Эпоху преподобного Сергия можно мыслить только в аспекте золотых, блистательных зорь античности и эллинизма.

Ясно и известно, что простотою несказанною сиял быт Руси XIV века. Но на северных реках, в дни моего детства, еще сравнительно мало затронутых машинною цивилизацией, я навидался этой «простоты» и «первобытности». Поистине изысканна и антично прекрасна была «простота» предметов обихода и обыта. Особенно поражала эта «античность» по верхнему и среднему течению р. Пинеги. Срубы домов, громоздящиеся над водами, утварь, промысловые доспехи, одежда, обрядность ежедневного обихода, ритм жизни, украшенный, как жемчугом, древнерусским образно-поэтическим словом, словом творчески чудесным не только в песне, былине и сказке, но и в живой, обиходной речи.

Резьба и расцветка в древнем архангельском доме применялись очень скупо и редко. Здесь поражала кра-

сота архитектурных пропорций. Богатырские косяки дверей и окон, пороги, лавки, пропорции углов, все это золотое царство дерева, голубизна еловых полов, резоватость лиственничных стен... Часами хотелось сидеть в этой сказке...

В ходу была самодельная деревянная посуда — ступы в средний рост человека, ендовы, братыни, солоницы в виде птиц и коней, также самодельные чашки, ложки, ковши... Все поражало изяществом форм. Бывала и оловянная и медная посуда. Все поражало изяществом линий, изгибов, скромным аристократизмом украшений.

Одежда была домотканою — полотна и сукна. Но льняные полотна были тонки и изящны, как шелк. Посредством деревянных вырезных досок крестьяне умели наносить узор на полотно, и набойки эти оставляли чарующее впечатление драгоценных восточных аксамитов и «хрущатой камки».

Краски добывали сами из земли: охра, мумия, белая глина; или же растительные: из ольхи, осины, из коры других пород.

«Бедность» древних храмов была такова, что и медь и олово были роскошью. Подсвечники и все сосуды, включая святой потир-чашу, все было из дерева. Кадильница глиняная, фелони и стихари из полотна, но льняная фелонь сияет краше шелка, складки ее приведут в восторг Фидия, оплечье, набитое вручную, богаче «рыта бархата». Древние, иерейские литургийные пояса, свисающие кистями до полу, выпрядены из крученого, неокрашенного льна. Но сама Византия подивилась бы изяществу этих посконных пряжек и кистей. А венцы для брачующихся из бересты. На простом ободке расцветает ряд как бы «королевских лилий». Аристократизм формы этих венцов совершенно удивителен.

Так что вот, изящество, красота, аристократизм, тонкий вкус, культура предметов обихода-быта не зависят

от материала. И когда я помышляю о скудости и бедности первоначальной Сергиевой обители, я в то же время знаю, что этим деревянно-посконный обиход, с точки зрения нас, художников декоративного искусства, этот обиход Руси XIV века был высокохудожественным, прекрасным, преисполнен высокой художественной культуры.

Прочитывал антологию греко-римскую. В сущности, эротические стихи Овидия, Лукиана, Марциала, Пентадия, Лукреция и др. Звенящая, как бронза, латынь. Язык — музыка...

Нарцисс, Гиацинт — все эти исполненные ароматом и свежестью весны мифы Эллады, оживляющие, обожествляющие природу, как обаятельны эти вечно юные сказки, вернее, это миросозерцание.

Эллин видел природу живою, разумною, обожествленною, и это великое и насущнейшее знание во многом искупляет и покрывает зачастую чувственно-мутное «эллинское баснословие», позднейшую греко-римскую нагроможденность мифологии.

После жары неделю дул норд-вест; было холодно, но дождь перепадал редко. Последнее время опять солнечная летняя погода. Картофель поправился, но хлеба по многим местам сгорели. Год, слышь-ка, будет неурожайным...

Мне только бы радоваться: в хорошем доме, среди хороших людей поживаю. Посиживаю во спокое на вышке, что в ласточкином гнезде. И столько неба наокруг, то лазурного, то облачного, не наглядишься, не налюбуешься. Да заболела сестренка. Чахнет в больнице. Душа ноет, ведь сестра единственно кровный последний человек, что на земле остался. Я не заботился о ней. А мы вместе выросли, там, на родимом Севере.

Как мне отдыхать, когда и брателко мой крестовой,

по милости того, что я, как печь, из избы ни шагу, и он до краю дожил, исхлопотался, избегался, ему пых некогда перевести. Он и в город бегом, и из города бегом, и дома как волчок. Надо копейку добыть, и купить, и приготовить. Мне и тарелки не даст вымыть. В лес погулять да на небо поглядеть — только и есть моего дела. Брателко к ночи домой прибежит, евши — не евши падет на постелю, я ему и рассказываю про птичек (у нас на балконе ласточки живут), да про облака, и он вздохнет: «Как хорошо... а у больницы сегодня (где у нас сестра лежит) инвалиды костылями дрались, а у булочной бабы сумками дрались...»

Больше месяца была засуха-то, потом с дождями зажили. Теперь ден пять ежедневно дождь да и с грозою. С утра, с четырех часов, солнышко в беленькой дачной нашей комнатке. Не могу нарадоваться утренней ранней поре, всхожему красному солнышку. На балкон двери, полы, и что сияния по стенам и на полу. А по обеде облаками небо возьмется. Точно перламутр самосиянный.

Воды здесь нету, речки никакой, отражающей небо. Вода — благодать. Но небо, лазурное ли, облачное ли, ведреное ли, дождевое ли, оно покоем покрывает сердечную печаль и воздыханье.

Вот не было дождя недель с шесть, и пылью взялись поля, гряды. А стали перепадывать дожди-те, и — не узнать, как все позеленело, от леса дух идет приятный, легкий...

С утра дождило, за полдень дует сырой ветер. Ровно — облачное небо, любимое, пасмурное глядит в большие окна дачного дома; над рощею за картофельным полем кричат вороны. Брателко уехал в город (выдача в магазине, рынок, аптека...) Мне нездоровится. На столе цветочки и керосиновая лампа с абажуром, каких

я не видал лет сорок... Взял томик Чехова и нашел рассказ удивительного проникновения, разительной действенности, удивительной тонкости... Сюжет удивительного этого чеховского рассказа несложен. Холодный, ветреный вечер страстной пятницы. Лужи подернулись морозными иглами: непохоже, что послезавтра Пасха. Студент Иван Великопольский, возвращаясь с тяги; греется в поле у костра и рассказывает караульщикам евангельские события сегодняшней ночи... Протягивая к огню озябшие руки, студент говорил, что точно так же девятнадцать веков назад грелся у костра Петр... пустынное поле, одинокий огонь... Взволнованная речь юноши, слезы баб-караульщиц... Потом студент опять одиноко шел домой. Был близок холодный рассвет, на горизонте резкой полосой глянула заря. Ветер морозил пальцы, но в душу юноши пахнула неизъяснимая радость...

«Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. Наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое,— думал он,— связано с настоящим непре-

рывною цепью событий, вытекающих одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню, а вдали узкою полосою светилась холодная, багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле... и невыразимо сладкое ожидание счастия, неведомого, таинственного счастья, овладело им мало-помалу...»

Сколько есть «пасхальных» рассказов с настроением: «вербочки», «12 евангелий», «заутреня пасхальная», «куличи», «звон»... Но Чехов, без этих, пусть заветных и обаятельных аксессуаров страстной и светлой недели глубоко-правдиво, как бы оголенно и даже безотрадно показал русскую раннюю весну, мартовскую или апрельскую холодную ночь с замерзшими лужами... Но радость как острие ножа, разверзает завесу скорби, и завеса распахивается от верхнего края до нижнего. И радость топит душу человека в такие именно русские предвесенние рассветы...

Я пишу, ведь не учу я и не выдумываю. Заношу в тетрадку то, что становится для меня ясным, что в моих мыслях высветляется для меня. Вынашивая «свою веру», сам с собою об одном и том же и беседую. Все «зады» твержу, чтобы вперед-то надежнее ногу поставить...

Хромому да подслепому, всякой шаг мне затруднителен. Вот и сижу я у оконца в городе ли, в деревне ли, справив малую порядню домашнюю (пол вы-

мести, самовар согреть...), сижу и гляжу я на небо. Меняется оно ежеминутно — туча накатится, облака пройдут грядою с просветами. Вижу я лик неба выразительным, многоглаголивым. В зиму ли, в осень ли, весною ли, особенно выразительна и беседлива блакитная пелена небесная...

Лик Земли человек может испохабить и измертвить (в какой-то степени). Но до лика небесного человеку не доплюнуть. Погляжу на землю: там, где в прошлом годе был лес или поле с цветами, там сей год казарменные корпуса химзавода... А подыму лицо вверх, и небо все тот же любимый лик ответно и мне поглядит в мои мысленныя очи. И то знаю: какова эта ненаглядная, серо-жемчужная таинственная пелена бывала тысячу лет назад, такова эта переливная жемчужность и сейчас. Каковым это небо соглядал Сергий Радонежский, таковым лик заветный, блакитный вижу и я, нищий.

То мне по уму, то мне любо с облачным-то небом, что, урвавшись на минуту «от дел», выставишь рожу свою несчастную в небо-то, оно кряду и положит тебе на сердце слово тайное и заветное, надобное, будто рука протянется нежным мановеньем. Я и дождливое, ненастливое небо люблю, когда и лес-то дальний туманцем потянут, и вороны мокрые сидят на изгороди. Очень уж с тихим ненастным днем мне душевно и понятно. По городским улицам люблю в дождь: точно я с приятелем хожу.

Видно, осень заводится: бухает ветер, облачно весь день. Скрипят окна-двери: напоминает родину с ея морскими ветрами. Отемнало, ударил мелкий дождь...

С утра, при тусклом солнце, зажундели мухи: подумаешь — лето. А по обеде опять затянуло дождичком.

Жизнь с природою — телу здравие и душе веселие. Однодумно надо жить с нею и поступать. Надобно знать и переживать, дождь ли идет, ветер ли, непогодушка — ты слушай, люби. Первый снег напал, ты празднуй, как дети-те об этом празднуют. Хиреет творчески человек, изолировавший себя от жизни природы, от времен года городским комфортом. Надо чувствовать, надо любить, надо переживать времена года.

Смотри-ко, как вместе небо с землею. Как земля живет и дышит, как зависит от неба. Я говорю здесь о дождях, о снеге, о ветрах... Лес, поля, вот эти кустышки, травы, глинистые дороги с глубокими колеями, с дождевыми лужами, стаи галок, ворон, то прилетающие, то опять исчезающие куда-то,— как все это связано с временем года, с состоянием погоды...

Уж таково-то душевно и душевно насытил я сей год свое сердце «небесьем» осенним, величавым, сереброоблачным. Осень подошла величавая. Вечерами, по залесью, туманисты дали. Застегнувшись да шапчонку нахлупив, посиживаю на улице, поглядываю. Что же я так рад приходу осени? Или она мне по нраву, или я ей по душе?

По горизонту то ли облака земли касаются, то ли мать — сыра земля туманы возносит... Обвечерело, сумерок опустился, в перелеске галки на сон гнездятся, еще тараторят. Не наговорились за день-то... А се и писать не видно. Далеко на огородах костер замигал...

Я трепетно обожаю предначатие весны. Но весна для меня — «невеста неневестная». Душа моя молится таинственной поре — времени марта...

Осень приемлется в иных переживаниях и настроениях. Когда поля сжаты и побурели, леса оголены, дороги блестят лужами, ветер гонит по небу серые облака, утро туманно, а ночью стучит в окно дробный

дождь.— кому желанна эта пора? А мне она люба и желанна. Потому что никто ее у меня не отымет, никто не станет оспаривать. Я сватаюсь на осени, и она идет за меня. Венчаться, венчаться надобно человеку с природою, с временем года и жить вкупе и влюбе.

Роскошь фетовской весны, май, соловьи, ахи и вздохи под черемухой душистой — этому я не пайщик. Не станет меня с это. Ну и «золотая осень», олеографичная: на нее все зарятся. Я люблю рисунок мокрых сучьев и веток на фоне серого неба «осени поздней».

Семен-день — летопроводец. К полдню солнышко подтеплило, а чуть ветер — и холодит. В ночи, к рассвету, все же дождь перепадает. Грязей еще нету, мы и отдуваемся, не торопимся в город.

Голова опять худа и дурна. А и сквозь худость, краем зрения не могу не поглядеть, нельзя не похвалить тихости осенней, небесной. Как же оно просвéтло, как же оно радостно, осеннее «серенькое» русское небо! Вот у кого был бы дом или палата, крытая перламутровым куполом. И светлая радужность этой кровли все бы время менялась Уж как бы любовался хозяин, купно и все приходящие таковым чудом! Ты скажешь: в сказках есть наврано тех чудес. Нет, не наврано, не мною затеяно. Воочию всякой день и всякой час гляжу... эту красоту...

Сейчас над лесом продольно собрались облака-те, легкими рядами, нежною позолотою проложены. Любуясь, душу-мысли свои омываешь. Коль оно любо, коль желанно гляденье это, коль несытно, коль доброзрачно!

Высота поднебесная, широкая даль так и льется в душу, что купелью душа-то чистится. Свободно да вольно ей. Дыхание долгое, глубокое. А в городу, в кирпичах да в людях зажат, разве вздохнешь вольно да свободно!

Блуд, как его поэты ни называйте, как его художники ни преподносите, блуд, жадность эротическая, разнузданность чувственная есть, во-первых, рабство и слабость, во-вторых, дело растленное и самоубийственное...

Знал людей талантливых, одаренных, ярко чувствовавших всякую красоту. Как дети в дорогих игрушках, как гурман в изысканных явствах разбирались, рылись, лакомились, хвастались и величались они и «Русью Святою», и «сладостью церковных книг», и «отроками», и «ладаном», и «Николы», и «в совокупленьи... корчится с отроком бес...».

Ежели божественный Павел вопил, что: «дадеся в плоть мою ангел сатанин», то он, великая душа, позорил этим себя, унижал свое сознание. Видя над собою, против своих подвигов милость Божию, преклонял свою выю долу «ниже всей твари».

А вот наши «певцы и художники» данного им в плоть «ангела сатаны» несут или несли как знамя, несут, красуясь и любуясь собою.

Конечно, всеобъемлющая душа наших поэтов шире и поместительней «всего этого». Поэт всюду ищет лишь того, что ему приятно и нравится. Безмятежно он «играет неиграемым». Православие, староверие, хлыстовство и... надо всем «пламенный дуб у Федота в ночи, на печи...».

Но самоубийственно услаждение плотское, ежели оно культивируется как «искусство для искусства».

Хмель пройдет, и горько проснувшемуся пьянице видеть «свою бороду и ус в блевотине», как говорит Аввакум.

Чувственная страсть, цель которой наслажденье, как друг неверный и корыстный, непременно выдаст и предаст человека в позор тоски и разочарования.

Не хулю плотской любви. Упоение ею красит и венчает молодость. Страстность любовная свойственна молодости, как раз ее аромат.

Но сия вся «пета бяху». Кто же не знает, что молодость прекрасна и любовь упоительна?

Горе в том, что прекрасностям этим не видится границ. То, что благословенно и благоуханно в свое время и на своем месте, превращается в разврат. Уж у плоти-то и силенок не хватает, а распутное воображение без конца напущает ее на упражнения, которые тем жальчее и напраснее, чем старше человек.

Эти мои, вероятно, прописные рассуждения вызваны ярким впечатлением: на днях была у нас в гостях молодая чета, муж и жена, принесли с собой и младенца, сына-первенца. В обоих неизъяснимый трепет весны, и утра, и вместе с тем зной и расцвет... Нам, поэтам, есть над чем тут распустить слюни и распалить наше болотистое и расслабленное воображение...

Что же юная пара, которую мы исступленно призываем «заголиться и обнажиться» ради всеобщего любования, что же юные Адам и Ева не слушают нас?! Она только что покормила грудью трехмесячного сына. Чадышко спит... Свет чистоты, сияние непорочности, блаженный великий мир в личике столь малого детища, в трогательно сложенных ручонках. Оно только что гукало, чмокало соской, махало крылышками. И вдруг оно успокоилось. Вечная святость младенчества опочила на нем...

Муж и жена, юные, нежно обнявшись, склонились над своим сыном, и тихий свет чистоты и мира непорочного, озаряющий дитя, отразился и дивно сиял на лицах его родителей.

И по моему лицу, лицу старой сморщенной обезьяны, прокатилась умиленная слеза; и не то где-то в небе, не то в моем убогом сердце пел кто-то слова апостольские:

— Брак чист, ложе нескверно... Тайна сия велика есть...

Погодка стала строптивиться. На дню-то и дождь не раз пробрызнет, и ветер со всех румбов, и солнышком с краю поманит. Облаки все уж по сезону: с темной подкладкой. Холодное сей год «бабье лето»...

Отвык давно от этого ощущения счастья. Душа, точно беспокойная, бесприютная безнадежная птица нашла родимое гнездо. Есть ли большее счастье, как улучить, обрести это единство, тождество своего душевнаго устроения с душевным состоянием природы? Не сады, не парки, не луга, не нивы... Заунывная равнина. Ухабистые глиняные дороги. Изрытые и брошенные поля. Молчаливо, согняся под мешком картофеля, опираясь на лопату, пробредет человек — и нет никого. Над молчащею равниною низко склонилось облачное небо. Быстро опускается вечер. Редкие корявые сосны вдоль дороги теряются вершинами в сумеречном небе. Печаль убогих полей, пустынность дорог, одиночество этой равнины... О, любимая моя царица-бедность.

Говорят, душа не хочет расстаться с телом, тогда начинают петь и играть гусли. И душа птицею устремляется на этот зов.

Я увидел, узнал, нашел себя бесконечно своим этой заунывной осенней заре, бесприютности этих вечерних полей и дорог. Душа находила свое, она летала, как птица; сладко ей было пребогатое молчание заунывных далей, безглагольных дорог. Никакая музыка не бывала столь вожделенной, никакая песня столь родимой, ничто не звало душу столь властно. Давно не слышал я столь родимого голоса и зова, каким позвал меня этот осенний пустынный вечер.

На западе, низко над землею все время сияла широкая, как река, лента зари. Ее немеркнущее золото было как обещание, как победа. И радость единства убогой души с бедною природою венчалась венцом надежды на счастье таинственное.

В Богородицыно Рождество перебралися опять в городское свое пребыванье. А се я и не тужу. Оконца ладим чинить. «Уж небо осенью дышало. Уж реже солнышко блистало. Короче становился день...»

Дня два сухо. Ветер гоняет по переулку желтые листья. Брел переулком, а листы, сухо шелестя, летели с лип и берез; шурша, бегут по дороге. Серые дома, серые мостовые в строгом, ровном свете дня.

Близятся зори Сергиева дня. В тихости великой сердечной надобно расслушивать, встречать сладкую музыку преподобнической славы. Надобно, чтобы твое сердце, о человече убогий, пело славу Преподобному, а ты бы внимал себе, радуясь. Ведь «царство божие внутри вас есть». Но подслепа нищая моя душа: худо разглядывает зори своего счастья, туг я на ухо: недослышу жизнеподательнаго рокота радонежских гуслей.

Душа моя, сознание мое что захламощенная кладовка. Ежели и бывало что доброе, надобно выискивать, рыться во всяком соре и мусоре. Вся моя «вера» построена на песке. Во мне одна только любовь к «светлым настроениям» и погоня за этой настроенностью. Мне непременно нужна соответствующая «обстановка». И горе тем, кто срывает «светлую» мою настроенность. Пропадай все, а я выколочу, выполю и вымещу вам за то, что сдернули меня с любимого конька.

Безусловное и позорное отсутствие «дел веры» способствовало тому, что жизнь моя, существование мое, поведение мое закопились «делишками» мусорными, грязными, жалкими. Камня я не подмостил под себя. Вот и порывают душевное мое состояние всяческие ветры. Стоит дохнуть противному ветру, и все мои настроения облетают, как одуванчик. Опять остается голый стебелек.

Будучи такою «мимозой», я и гоняюсь за тихостью

природы. Я гоняюсь за покоем. Потому, как сказано, он и бежит от меня. Всякое отсутствие сильного характера и воли, при наличии беспутной самочинности, привели меня к такому жалостному устройству.

...Ведаю, что «внутри нас царство», что счастье это, радость сия в нас. Но великое сокровище это подвигом великим добывается. А я, губы распустя и расшеперя лапы, век свой проболтал. Эта дума есть богатство-то схватить, а только бы без труда.

Настал и прошел день преподобного Сергия и день Савватия Соловецкого. А я молол на житухиной мельнице. Мелева было много, а помолу нет.

Празднична работа впрок не идет.

С вечернею зарею кануна праздник-от придет. И самый день до вечера праздник стоит. Можно бы уму и сердцу «упраздниться» на мал час... Можно бы ухватиться за край ризы не Сергиевой, дак Савватиевой. Но подсунет лукавый спешку «деловую» именно на эти дни. И ум-от уж не златую праздничную нить, а пропыленную паутину из угла на свое веретено сучит.

Умишко-то о «делах» тревожится, как мячик под прохожими ногами, катается мысль, и устанешь ты этот мячик к месту прибирать... Знаешь, что праздник и свет сегодня, и сердце-то спросится робко: «Припасть бы к преподобническим ногам, очень-де лик-то светел у святого...» Но недолго прядется светлая злато-шелковая нить. Боязливо обрывает ее унылое веретено сознания. Снова и снова наматывает свой привычный, будничный шпагат.

Северное серебряное небо. Ряды за рядами волны с белыми гребнями. На лодье плывет преподобный Савватий. Морское поветерье шумит в снастях. Святой

стоит на корабельном носу, глядит в безбрежную даль, в даль веков... Ветер играет воскрылием мантии.

«...чтим святую память твою...» Уж нету времени, годов, дат живших, умерших поколений... Все то же небо, и те же волны, те же белые пески, тот же ветер дует сегодня, что и век назад. Вечность вечно юнеет. И сегодня, сегодня ходко бежит корабль преподобнаго Савватия по морю Соловецкому...

Осень чудесная стоит. Опавший лист у оград, у заборов. Уж мало его на деревьях. Не застит света тихаго вечерней зари купа дерев, что против моего окна... В шесть часов уже не видно писать и у окна.

Дни сухие, солнечные, с холодком: редкий год так об эту пору. Сегодня вечер ясный, с праздничною вечернею зарею.

...Не могу забыть: вчера, на ветру, в сумерки, на людном перекрестке стоит плохо одетый, нестарый человек и продает букет — пучок опавших листьев, каких много под ногами... Видно, нечего больше продавать. Но никто не глядит на эти «цветы». Может, он и не ел сегодня, этот человек.

А сегодня по обеде вот как дунул север да со снегом (на мал час снег-от и в первый раз), дак без дела и не усидишь на улице. О, как бы я любил в деревне и зиму, и весну встречать. Однодумно, единосмысленно с природою пожить.

В вечерню над домами, над крышами надходили с холодным сиверным ветром снежныя тучи. Падал снег с мокром. Но на западе все время блестела сильным опаловым холодным светом низкая заря. Заря блестела низко меж чернеющих домов, отражалась в лужах. Забелели крыши...

До вечера я бродил, дышал настроением осени в этих старых переулках. Везде вставлены окна, под-

оконники проложены ватой. Приземистые дома, спешат люди...

Я как-то... уж не любуюсь, не наблюдаю «осенний» пейзаж, а сам себя чувствую частью такого пейзажа.

Китеж, светлый град упования твоего, глубоко утопи в заветных тайниках души. Подальше положишь, поближе возьмешь. А не делай из своего упования, из своей «веры» лавки. Тогда уж, хочешь — не хочешь, будешь сидеть да торговать. Будешь сидеть как на ярмарке. Притом из тысячи, может, одному надобен твой товар. Остальные будут тебя тягать, что непоказанным товаром торгуешь, иные вразумят тебя, что давно вылинял или выдохся твой товар.

Кто Христа на базар ходил продавал? — Только Искариот. Execution Упованье наше Христос. Кто его взыскует, не по базарам тот ходит.

Вера — невидимый град Китеж, озеро Светлояр, тайная тайных нашего сердца. Пусть подземный сей родник питает твою сердечную мысль. Не делай упования твоего фонтаном на площади.

У тебя полет орла, а у меня воронин. Ты поешь соловьем, а я грязной воробей из-под худой застрехи. Ты лев, а я заяц.

Ознобно ветр прижал к земле травы и цветы. Зиме время быти. Напрасно вы, цветики, головки подымаете. Не время красоваться, не время величаться наружной пышностью.

От многих времен какое множество заведено было наружного, показного. И все облетело, как маков цвет. Только те не обнищали, только те до последней духовной срамоты не обнажились, у кого в сердечной скрыне собрано-запасено было истинное, некрадомое богатство. «Не ищи ни Рима, ни Иерусалима, ни больших собраний...» Всею мыслию своею приникни к тем, походи,

хоть умом-то, вслед тех, которые во все времена держались надежнейшаго и вернаго понятия о жизни... То есть, что эта жизнь есть внутренняя, сокровенная.

Вопросы собственнаго миросозерцания, собственнаго умозрения ныне редко перед кем встают. Не время философствовать. Впрочем, вопросы любомудрия, темы умозрительныя казались оторванными от практической жизни уже сто лет назад. Норвежца Стеффенса, ученого и философа, жившего в эпоху блестящаго расцвета философских школ в Германии (Стеффенс был современник Шеллинга, Фихте, поэта Гёте и др. замечательных философов, поэтов, ученых), Стеффенса уже тогда беспокоила оторванность и разобщенность философии с «жизнью».

Образованность уже тогда порвала с религией. Религия перестала быть умозрением всех. Философия Канта, Шеллинга, Гегеля заняла у «образованных» место религии. А затем, с середины XIX века, эта достаточно отвлеченная философия уступила место учениям гражданственным, социальным.

Кант вперял умное око в «звездное небо над нами и в нравственный закон внутри нас».

Величавое спокойствие (довольно безотрадное) внушает нам Спиноза.

Шеллинг... он как сокол, весь в природе, купаясь в воздухе, носится за добычей. Шеллинг так увлекал молодежь с ее сколько пылкими, столько неясными идеалами.

Но, очевидно, жизнь усложнялась. Соответственно настроенные умы занялись вопросами богатства — торговли, рынков. Если Стеффенс и его друзья, любители философии и поэзии, учась в университетах Гамбурга, Киля, задыхались от атмосферы купли-продажи, при всяком удобном случае убегали в горы, в леса и поля,

уходили в море, то появились мыслители, теории которых более соответствовали новейшим временам.

Но что же?! Звездное небо над нами; желание чудное, томящее душу: мир и радость, которую дает нам общение с природой. Эти вопросы никого уже не занимают? Затем такие темы, как вопросы о смысле жизни человеческой, смысл неизбежных страданий и смерти; так же вопросы любви, героизма, самопожертвования, свойственные душе человека и еще не истребившиеся. Эти свойства, откуда оне?!

Сознание единства человека с природою, с «Матерью — Сырой Землей» дело живоносное, спасающее, оздоровляющее ум-сознанье и тело, физическое и духовное существо человека.

Удивительно благодарное и жизнетворное дело привыкнуть к учителям-мыслителям, стоявшим на этом верном пути, искавшим и обретшим эту воду живую.

Но почему Стеффенс? — меня привлекает это имя, потому что он был уроженец Северной Норвегии, довольно пишет об ее природе и людях. Между тем эта страна сходна природою с моею родиной. А быт ее, описанный в Стеффенсовой автобиографии, живо напоминает мне обстановку и людей, среди которых я родился и вырос. Хотя нас разделяет целый век, хотя мыслитель этот родился в стране протестантизма...

Киреевский привел только молодые годы Стеффенсовой автобиографии. Но и на том спасибо русскому любомудру. А читаешь с сердечным весельем. Только чудно мне, как Стеффенс, восторженный взыскатель Бога и веры, с не меньшим энтузиазмом делает модные тогда опыты над электричеством, тратит остатки средств на устройство вольтова столба, гальванизирует лягушек...

На Михайлин день с вечерен полетела над Городом метель-поносуха. Несло с кровель, завивало на перекрестках; белые сувои снега поперек устилали переулки, выходы дворов. Наш дворишко заметало до полуокон. Потом два дня была морозная ясень, в ночи звездно, снег скрипел по-морозному. То уж зима настала, что и дивить: во вторник заговенье на пост Христова Рождества.

В нашем дворике четыре кряжистых дерева. Лоза, та с первыми ознобными ветрами лист растеряла. Дуб в углу до полуоктября шабарчал мертвенно-сухим убором. Ветер налетал, в сердцах, сильнее да смелее. Дубовый лист, как вереница кладбищенских старух, ездил по голому двору из угла в угол. С каким-то могильным и сиротливым шорохом. Всякой вечер махнет с переулка через забор северный ветер, а листы-шкелеты того и ждут. Выстроятся, что похоронная процессия, поползут к северу, как живые, заворотят за угол к воротам. Тут остановятся. Сквозняк их догонит да поддаст, листья-старухи и выфурнут в переулок. Тут порядок растеряют, которая куда побежит...

Нейгауз играл Шопена. Ряд вещей пленительных и по исполнению. Музыка интимная и меланхолическая. Так хорошо; так ко времени; так отдыхает, в себя приходит душа под этот переливный ручей звуков, под ласковый перебор этих струн, под это лирическое и медлительно-прелестное веретено, прядущее музыку интимную, трогательную.

...Вспоминались, вставали в памяти сердца мечты юности, несбывшаяся, может быть, первая любовь: много их было у меня, первых-то любовей.

А я вот как оглянусь да увижу свои юношеские мечты и жизнь «юношескую» — и все оно передо мною, как книга в расстил, лежит. И ничего-то единого, цельного, высокого не правил я в своей молодости. Как «просну-

лись чувства» в 15, в 17 лет, так и пошло десятка на два годов: «Чего-то нет, чего-то жаль; куда-то сердце мчится вдаль». Страстные порывы к «прекрасному», к искусству, отчасти к поэзии, а более всего ухлопал, убил, погубил время и годы на увлечения более, увы, платонические. И над всем мечтательность, мечтательность безоглядная...

Родину бы хотелось повидать, там бы уж недолгие мои годы дожить... В Двинской губе еще в детстве пало мне на сердце одно место: как от Города плыть к Лае-реке, и после Черного леса (Цигломина) будет высокий наволок. И на горе деревня Глинник. Ряд старинных северных изб тянется по гребню величественно-сурового глинистого берега. Под горою белые пески, карбаса. И беспредельное царство свинцовых двинских волн. Немерная водная ширь! Здесь всегда качнет, трепанет — в карбасе ли плывешь, на пароходе ли.

Я мальчиком бывал в гостях на Глиннике. Из какого оконца ни взглянешь, всегда точно крылья развернутся за плечами, будто сам ты летишь над седыми волнами, вместе с морскими птицами вон к тем дальним, еле видным островам.

Помню осенний вечер на Глиннике. Бесконечные ряды черно-свинцовых валов с гребнями, пламенеющими в последних лучах заката. Грозным, немигающим оком глядит из-под сизых туч последняя заря. Красота грозная и плачевная и восторгом охватывающая душу.

Меняющийся лик небес имеет для меня силу великую, притягательную. Однолично с небом (и даже больше!) поразил меня взгляд младенца.

Взрослые беседовали у лампы. Грудной ребенок, мальчик, тихо лежал поодаль, в тени. Мы думали, он давно спит. Я подошел к кроватке. В полумраке увидел

широко открытые глазки. Мальчик как бы внимал чему-то для меня непостижимому, но для него близкому и сродному. Я опустился на колени, шепча нежные слова, дивяся чудной сосредоточенности милого личика... Он стал глядеть на меня, как бы вопрошая о чем-то. Чувство какого-то смятения, но и восторга поднималось в моей душе. Мы глядели друг другу в глаза. Он, только что «пришедший в мир», еще весь чистота и непорочность. И я, уже собравший на себя всю грязь и весь тлен земли.

Он лежал маленький, спеленатый, но важность гостя из таинственной страны почивала на нем...

Только глядя в звездное небо, давно когда-то, ощутил я подобное чувство...

Вся неделя с морозами. Давеча слышу — поют под рояль: «Под душистою веткой сирени» Чайковского (по сезону!). Это все чары комнатные. А выскочил на улицу (стекло ребята разбили, дак поорать)... Чистота опустилась на Город, морозная праздничность, непорочность, празднственность холода, наступившего на грязь, на тлен, на смрад Города...

Сочельник Рождественский. Дни святые, время чудное, часы прекраснейшие. У нас намыты полы, благоухает елочка, в оконца глядит несказанная белизна, тускло-серебряное небо сыплет снег; летают, гоняются друг за дружкой снежинки.

Ночью вышел на улицу. Белая земля, белые кровли домов. Ровный тихий свет от снегов, покрывающих город. Рождественская ночь. Загадочно-таинственно темнеющая пелена неба над белою молчащею землею... Сердечное око человека видит большее, и тоньше слухи сердца. Небо, вмещаемое нашим сердцем, шире видимого глазами и предславнее. Гляди внутрь себя, внимай себе...

1947

Помню, старовер Трофим укорял Федора, молодого человека: «Спасаться ты побежал «в пустыню», а у родителей за недоимки корову со двора повели!»

...Все, все, и в первую очередь интеллигенция, особенно к старости, люди одинокие, скудные, больше всего боятся беспокойства. Они предпочтут одинокую камеру но только не то, чтобы в их комнате смеялись и плакали дети. Знаю дом: в комнатах по многу лет живут ученые дамы, пенсионерки. Комнаты-одиночки. Век не топлено, не готовлено. Выйдут — дверь на замок, и войдут — дверь на ключ...

Вчера Аким сказывает: «Две скворешницы сделал, надо поскорея в деревню свезти. В эту субботу жаворонков надо ждать...»

Воспоминаньями, притом далекими, думы о весне родимого Севера.

Уже я вижу, например, холмы Хотькова, ручьи-потоки вокруг Сергиева града. Хорошо и здесь по деревням-то. В полях, на огородах снег, а у избушек завалинки, крылечки приобсохнут. За углом ветер, лед, а на припеке старики щурятся, кошка на подоконнике греется...

Эх, мысли-то тщусь посылать в тихость деревенских дорог, а самому сдвинуться с места, хоть часок посидеть, поглядеть, как сосульки мартовские с деревенской крыши свисли,— задница тяжела. Думы-то соколом, а жопа-то кошелем. Да и думы-то мои не соколы, а кисельная выжимка. «Все прошло, пропали силы, притупился взгляд». Только и осталось, что плачет душа по радости неотымаемой. И начал я стареть и всяко ослабевать, не заготовив снасти, чтобы неотымаемую-ту радость уловить и удержать.

Желанье-стремленье будто и есть, а воля-характер слабые. На корабле духовного существа моего матросы — пьяницы, штурман карты-планы потерял; капитан знает, куда плыть, да команда его ничем зовет, сколько он ни горячись. А се — и капитан-от рукой махнул,— как хотите!

Пасмурно — тают инде снега. По улицам сегодня воды нет, а уж конец зиме. Народишко посередь дороги лепится — везде снег с крыш роют. В Хотькове, сказывают, только на станции вода, тает. А так — многоснежно. От Митинской горы, слышь-ка, к Паже в прорубь щель меж сугробы рыта. «Говорю о новостях природы,— пишет молодой В. Дроздов*,— когда новости людские не заслуживают слов».

...И без того ум-от худ, тревога заботная на двое, на четверо его раскуделивает: апрель перебьемся, а май месяц... никаких получек не предвидится. Вот эта гнетущая тревога, этот страх перед завтрашним днем пригнетают силу ума, делают сердце пугливым. Сердце просит радости, как голодный — хлеба, просит и безнадежно, безответно умолкает...

Вот для чего я эту печаль пишу? Для кого? Легче мне, что я это все выложил? Помру — печку растопит моими тетрадками какая-нибудь Нюра или Муся.

Сегодня память, умерший день отцу моему. Преставился в 1905 году, в великий Четверг, в два часа пополудни. Утром сряжался к обедне, к причастию. В доме с рассвета шла предпраздничная порядня. В четверг мать пекла куличи. Вижу ее в слезах и в хлопотах с тестом:

---

* Речь идет о митрополите московском Филарете (в миру Василий Дроздов, 1782—1867). Известность м. Филарета как проповедника и духовного писателя была очень широка в России. Пушкин в стихотворении «В часы забав...» называет речи м. Филарета «благоуханными».

«Отец у нас особенный сегодня — захожу к нему в спальню, а он: «Христос воскрес! Что вы не готовы? У меня на заре три священника были. Пели Пасху. Христос воскресе!» — И руки протягивает христосаться...»

Я подивился и, не зайдя к отцу, поспешил к обедне в гимназическую церковь. Потом прошел в собор на «омовение ног». Домой пришел часу во втором пополудни. И слышу из отцовой спальни пение пасхального тропаря. Я почему-то заплакал и вошел к нему в горницу. Он лежит такой праздничный, борода и волосы учесаны, и весело мне говорит: «Поздравляю тебя с принятием святой Тайны!» Я заплакал, обнял его. А он: «Погляди-ко, сынок, который час?» Я прошел в кухню. Там уж вынимают куличи, опрокидывая их на подушки. Я загляделся минуту, меня чем-то заняли, потом говорю: «Ах, мама, папа-то спрашивал — который час». Мама сама побежала к нему. Минутку спустя слышим стук в стену: отцова горница была смежена с кухней. Я подбежал: мать, обнимая отца за плечи и припав лицом к его голове, плачет над ним, называя по имени. А он уже кончился. В страстную субботу отца схоронили на Кузнечевском кладбище, мы остались невелики годами.

Родитель мой был старинного роду. Прадеды наши помянуты во многих документах Устюга Великого и Соли Вычегодской. Родился в селе Серегове Яренского уезда в 1850 году. В 1865 году, по смерти моего деда, бабушка оставила родину навсегда и уехала в город к морю. У моря началась трудовая отцова жизнь. Почти всю жизнь он плавал на Мурманских пароходах. А матери моей предки (и дед мой по матери) век служили в Адмиралтействе, при корабельных верфях.

Род матери моей покоится на Кузнечевском кладбище (а частью на Соломбальском). Здесь же и отцова мать, бабушка Мария, и отцова сестра Павла.

Я сегодня помянул род свой... День с утра такой северный, какой на родине милой бывал, когда реки тронутся. Во второй половине апреля, бывало, пойдет лед в море.

Как бы я туда слетал, походил бы по родимым берегам, ветрами бы подышал, детство и юность желанную помянул. Как беспечально там жизнь проходила...

Детство, юность, молодость — все у меня с родимым городом северным связано, все там положено. И все озарено светом невечереющим. Годы золотые, юные — заботы, тревоги о куске хлеба на завтра я там не ведал. Делал то, что любо было... «Что пройдет, то будет мило».

Но разве мало милого было в здешних местах, во вторую половину моей жизни, столь несхожую с бытом Севера родимого? Как сравню, думы там были невеликие, хмель молодой одолевал, печали молодые, несмысленные. Мать, разумная, терпеливая, дом, житье-бытье вела и правила, а я с сестрами одну заботу знали — учиться. Вишь, потому еще жизнь-та в те поры красна и светла вспоминается, что сил душевных и телесных много было.

А теперь все — ох да ох... Не живем, а колотимся, как навага о лед.

А погода сегодня малу-помалу хмурилась, да и дожжинушка зачал сеяться. Заблестела мокрая мостовая. Неуедно живу, да улежно. А хозяинушко мой с рынку пришел, еле ноженьки приволок, выпал весь. Картошки в кошолочке принес. Люто голодна весна-та. Мы с четверга светлой недели на одном постном супе, на пустых щах сидим. Худо дышит семеюшка моя. Я бы так не гужил — на них глядя, горестно. Добытку нет. А дороговь люта. Хлеба-та не хватает, делим его на четвертушечки. Я вот курить стал при старости лет. Еще чаем отнимаюсь. Чай души моей отрада. Даром что без сахару. Не завлекательно об этом писать.

От юности моею увлекался я «святою стариною» родимого Севера. Любовь к родной старине, к быту, к стилю, к древнему искусству, к древней культуре Руси и родного края, сказочная красивость и высокая поэтичность этой культуры — вот что меня захватывало всего и всецело увлекало.

Но прожив жизнь, когда уж «всяко меня бито, и о печку бито, только печкой не бито», вижу, что, «как ладья ни рыщет, а у якоря будет» — деваться некуда: приходится посмотреть, подумать и взяться за то, чего в молодости-то отмахивался.

...Ребенку простительно... постлать на пол картину Рафаэля и, ежели не досмотрят, топтать и рвать ее. Дитяти простительно вылить за окно ведро, скажем, розового масла, забросить в реку слиток золота, сжечь, играя, в печке денежных бумаг на миллионы рублей и т. д. и т. п. Но ежели так будет поступать взрослый, все скажут, что это умалишенный, что это идиот, что тут нужны срочные меры. Не собираюсь и судить эстетов, коллекционеров, которые «неиграемым играют». Когда на моей улице пожар, я не побежу в соседнюю улицу читать лекцию о противопожарной охране. Когда мне прописано лекарство, я не буду заставлять соседа пить его насильственно, ежели я угорел в чадной комнате, а другие, обладающие более крепкими лбами, сидят как ни в чем не бывало, я должен выскочить на свежий воздух...

Сегодня такой «серенький», такой северный день, жемчужно-облачный. Северная весна. Небось там, у северного моего моря, реки распленились от льдов, а берега по взгорьям обсохли. Ветер сегодня весенне-свежий, с родимых моих берегов прилетает. И я Фиваиду русскую вспомнил: небесного Зосимы Соловецкого. Память только что была. Художественная культура XV века: живопись, зодчество, поэзия, быт... «в ней все поэзия, все

диво». Но человече безумный, устрашись ступать ногою на хлеб насущный. Любуясь прекрасною оболочкою, не забудь главного, важнейшего. То, что одухотворяло и живило прекрасные формы иночествующего быта «Северной Фиваиды», является и нашей жизнью, и нашим дыханием. То, что было «единым на потребу» для Святой Руси, есть и нам «едино на потребу».

«...И ты,— говорит святой писатель Древней Руси,— не можешь быть солнцем, будь звездою, не можешь быть большою, будь малою, только на том же Святой Руси небе почивай».

Что-то уж очень бойко зачал я духом-то падать. Никакой во мне укрепы, никакой основы не стало. Чуть какое нестроение дома, я с ног слетел. Всецело мое душевное устроение от людей, вернее, от человека зависит. А человек-то, близкий и единственный, вконец из сил выбился. «По лошади и воз накладывают», а у брателка не воз, а целый обоз.

Июнь пошел. Чудные они, июньские негаснущие зори. Сейчас тихий вечер, над крышами посвистывают стрижи. В камне, в городе и то любо...

Сегодня на родине праздник. Июньские сияющие ночи, говор беспредельных вод, острова, белые пески, родимый, ныне недосягаемо далекий Город, крики чаек... Почему вот теперь печаль угнездилась в сердце? И держит его, не отпуская. Точно свинцовым грузом обложено сердце. И некому разгрузить, никто не пособит. А уж и дышать тяжело.

Говорю о том, что светит уму, что желанно сердцу. А выговаривать суд да кручину — отяготительно для меня. Оскомина падает на душу от сердитости...

Эти две-то недели обиваю пороги, приемов добиваюсь. Высоки пороги-те. Сидишь, сидишь, ждешь-ждешь, да с

тем и домой бредешь. Перед крашеной секретаршей стоишь, по имени-отчеству ее, сучку такую, величаешь, а она и глядеть и слушать не хочет... Собрался с духом, позвонил именитому человеку, бывшему, так сказать, «другу юности». Дак, трубку-ту держачи, будто я в кипятке сидел. Трех слов не сумел я ладом оболванить. Каково же мне тошна просительская роль! Главное — знаю, что в глухую каменную стену стучу. Вот этак, собравшись с силами, зачнешь людские пороги обивать...

Попаду в деревню, и нет у меня сытости глядеть на эту светлооблачную небесность, на эти тропиночки меж дерев, на эти ряды белеющих, как свечечки, берез... Голуби на серебристой крыше сарая, стайка воробьев на изгороди. А по сторонам тропинки ромашка. А вдали стена темных, важных, неподвижных елей.

Нет сытости слушать и внимать шелесту листвы, шуму ветра, шороху дождя. Музыка тонкая и сладкая, вожделенная, любимейшая! Иной гул хвойнаго бора, совсем иначе шумит березовая роща. Вокруг нашего дома темнеют ряды елей и белеют купы берез. Под ними кусты ягодника и трава-метляк. При ветре они все будто разные инструменты симфонического оркестра. Разные, но звучат согласно и стройно.

А речь и говòря дождя... Уж столько у дождя разговору со старинною крышею нашего домика! Видно, давно знакомы. Сначала редкие капли обмолвятся словом да помолчат. А потом все заговорят, зарассказывают спешно. Тучка-то торопится, деревень-то много надо облететь, каплям дождевым многое надо обсказать: то у них и спешная говòря-та. Ино в ночи долгую повесть дождь-от заведет. Я лежу да внимаю... Осенний дождь слушать люблю. Он мое мне рассказывает. Мерная говòря дождя, особливо осеннего, спокой в душу приводит.

Дождь-то знает, что я его слушаю, ведает, что я слушать его люблю, и он подолгу со мной свою беседуш-

ку ведет, все мне обскажет. Мое говорит, моему уму норовит, речи-беседы дождей, радостных вешних или грозовых летних, или осенних тихомерных — всегда они, эти речи дождевые, уму-разуму и сердцу-хотению желанны и любезны.

Новостей человеческих не знаю здесь, в деревне. Одни надо мною новости природы. Вечером вчера сковылял до лесу, он в глазах. До оврага не долез, заподымалась туча, загремело со сторонушки звенигородской. Гроза кругом обошла, и установился дождик обложной. С рассвета и за полдень точно кто гаммы наигрывает однообразныя, то тише, то смелее по кровле моей. Хозяйская бабушка предвещает недели на две ненастье-то. Ветер свое дело управил, натянул дождя и успокоился. С вечера и кузнечики примолкли, сегодня их не слыхать. Только птицы щебечут, синичка посвистывает. Тонкий сырой туманец реет у лесных далей...

С брателком мы этот месяц из воблы суп варим. К обеду и ужину. А между вытями, проголодавшись, той же воблы твердые ремешочки жуем.

Чаем я свою душу утешаю, дважды в день завариваю, по-богатому. На сахарок-от поглядывать приходится — тут не по-богатому. Крупа на рынке дороже 20 рублей стакан.

Видишь вот, о чем я, бездельник, пишу. Не приходит в башку слово к полезному!

Хозяйская бабка, старая, но еще крепкая, осень, и зиму, и весну до просухи, до лета, живет здесь одиношенька, караулит дом. 25 годов так-то. Тем не тяготится, но веселится. Вот кому я завидую. Хоть глуха, а видит хорошо. Книги заветные перечитывает, в будни шьет, вяжет, прядет. «Хлебца мне дети в воскресенье привезут, а картошка, капустка своя. Одна царствую!» Еще бы не царство!

О, как бы я хотел да радел так пожить. Соглядать, внимать и следить, как зима на извод пойдет... март великопостный, апрель пасхальный... С конца февраля оттепели, сосули с крыш, капели ночные. Потом проталины, небо заголубеет, облачки барашками засобираются. От Благовещанья ручьи загремят... Вся-та истинная жизнь, жизнь природы, жизнь единая на потребу, жизнь телу на здравие, сердцу на веселье, уму на радость — все здесь с человеком. Вот где счастье-то! Вот где настоящее-то!

Конешно, «в чужих руках и кусок больше, и ломоть толще» кажется. Много надобно иметь в себе, в уме-мыслях, в сердце богатства, чтобы одному-то поживать...

Рисовать любил с детства страстно. Художествам учивался в молодые свои годы. Ничего в этой области своего не сделал, своего ни в графике, ни в акварели не показал, опричь невеликих декоративностей, но любованье «видимым же всем (и невидимым!)» во мне есть. Люблю рисунки и картинки, где тонкостно переданы настроения русской природы, особливо зимней и ранне-весенней. Люблю залы картинных галерей вроде Эрмитажа и Третьяковки, когда там тихо, когда не мешает никто жить с художником. Смотришь любимые картины, рисунки, и радость надмевает твою мысль. Бывало, иду из Третьяковки, точно богатыми подарками кто меня нагрузил. Домой тороплюсь донести. Не знаю, что с таким богатством буду делать.

...И на искусство, вероятно, взгляды мои очень личные. По себе сужу и философствую. Лето сравниваю с молодостью. Не наблюдаю, а беру, хватаю. Там цветы завидел, нюхаю да букет собираю. Вон там ягоды и яблоки — иду под яблоню с коробкой, с карманами. Блестит речка — лезу в воду. Любуяся лесом, беру грибы да

ягоды. Луг благоухает травами — хорошо тут полежать. Бескорыстия мало в любовании моем летнею природою. Летом — «что очи завидят, то руки заграбят». Это вот в молодости так...

А любование мое зимнею природою (русскою) сравню я со старостью. Я с горок не катаюсь, коньков сорок лет не видел, лыжи тоже забыл. Я в зиму иду лесом волшебным. Изящество, тонкость, изысканность черного цвета, силуэты, линии, контуры стволов, ветвей, веточек. Нежнейшие нюансы белых тонов. И потом «русский лес зимою»... радость накрывает мое стариковское сердце. Сорока роняет снег с тяжелой еловой лапы, стрекочет мне — «Жив ли сказочник?»

Гляжу меж стволы: тихо, таинственно.

В зиму, ежели так назову старость, я бреду по тропочке, сказочными сорочьими ножками строченной, по чудным узоринам, и соглядаю ненасмотренную, глубокую, родимую тайность русской зимы. Устланная белыми, праздничными скатертями земля, по белому полю вышиты чутким узором елочки. Вдали черная кайма леса. Над всем восковое небо... Как это мысль мою обогащает, как ум мой об этом богатстве веселится.

Я руками тут ничего не хватаю, за пазуху ничего не пихаю, лыж никуда не навостряю. Только глаза мои видят эту праздничную пречистость русских полей, молчащих с тобою, но вместе с тобою внимающих тишине.

Наберу этой радости полные закрома своего ума-разума, и столько этого много у меня, что от сердечного веселья, от полноты этой не могу не поделиться со всеми ближними и дальними. Спорая она, эта радость творческая. По избытку сердца не можно ею не делиться.

Так вот она, старость-та, каковою может быть у человека. Высотою, для молодости неудобовосходимою, и глубиною, молодыми очами неудобозримою.

От этой радости художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло.

Помню: выпал первый снег... Убелил Радонежскую землю, холмы Хотькова... С Митиной горы открывались дали без конца. Точно канун праздника настал. Точно к празднику убралась в бело земля. Как широкое льняное полотно стлалася долина Пажи, и Пажа, не замерзшая, вилась посередине серо-шелковой узором-лентой. А по сторонам серо-кубовой ленты реки, точно вытканные пояски, в два ряда бежали черныя стежки-тропочки... Какое веселие художнику! Где, как не здесь, зацвести творческой радости в народной русской душе!

Мысль моя веселяся летела, привитала и гостила в дальних деревеньках этого заветного края.

Знаменитый Филарет хвалился расписной хотьковской посудой: цветастыми чашками, чайниками, блюдами, фарфоровый и фаянсовый завод Попова был здесь. Поповский фарфор был плоть от плоти здешнего народного искусства. Обилие белых глин и земляных красок породило исконное здешнее художество. Встарь отдельные семьи по деревням лепили и обжигали. Потом завелись заводы: Дунаева в Митине, Попова близ монастыря. В XIX веке дунаевские куклы — фарфоровые головки для шитых кукол славились и за границей. Фарфоровые части пресловутых саксонских игрушек были сделаны и расписаны в хотьковских деревнях. Всему миру, можно сказать, известны были хотьковския шитые «мягкие» игрушки, а также всякое художественное вышиванье — вещи и для светского обихода-украшательства, и для церковного. Мастерством игрушки и высокой золотошелковой вышивкой именит был хотьковский девичий монастырь. Здесь было искусное гнездо художества женского. Художницы, монахини и белицы, в большинстве местные уроженки, творческой своей радостью питали высокую монастырскую технику.

Столицей игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преданиям, первую деревянную игрушку сделал сам Преподобный Сергий. Он будто бы вырезал («этим самым ножом в ножнице на ремешке») из липы птичек, коньков и дарил «на благословенье» детям.

Исследователи полагают, что здешнее, столь древнее и широкое, славное по всей России искусство деревянной игрушки вышло в XV веке из лаврской резной мастерской, пошла игрушка с легкой, мудрой и хитрой руки инока Амвросия. Образцы высокого художества Амвросия — резные кресты, панагии — хранятся в Лавре.

Деревня Богородская посейчас сохранила мастерство резной деревянной игрушки. А вообще сергиевская игрушка, эта истинная радость и для ребенка и для художника,— сергиевская игрушка была многолика и разнообразна по материалу и по искусству.

Игрушка и всякое художество было народным промыслом, «хлебом» здешнего края, овеянного, осененного светом Радонежа.

«Не сами, по родителям»,— скромно говорят о себе местные художники-кустари. Кругом «эти бедныя селенья, эта скудная природа», из подслепого оконца, из низеньких дверей избушки, где живет и творит деревенский игрушечник, видны тощия нивы, глиняные, ухабистые дороги, «серенькое русское небо», а на убогом дощаном столике, на полках и на печке праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, глина, жесть, бумага, все сияет и горит цветом небесно-голубым, ало-огненным, радуга позавидует яркости злато-соломенных, изумрудно-зеленых, «брусничных», «маковых», «сахарных», «седых», «облакитных», «бирюзистых», «жарких» тонов и цветов.

...Когда я брел по талой тропинке и сел на пенышек, а надо мной трепетала осинка еще неопавшими листьями, и узорным рядком, темнея по белому склону, стояли

молоденькия елочки, и кисти рябины краснели над серой избушкой, неизъяснимая радость обовладела всем моим духовным существом. Надо было что-то делать, в чем-то излить свое веселье. Тетрадочка и огрызок карандаша были с собою. Я стал записывать... А дома вижу щадровитую столешницу, бесцветные филенки дверей и шкапов. Дай, думаю, я вас весельем своим развеселю! Зашпаклевал, загрунтовал. А потом два дня расписывал. Выйду на крылечко, послушаю, как кричат галки над гумном, как воздыхает за бревенчатой стенкой Буренка. Погляжу, как нарядная черно-талая дорожка по белому-то скату горы, как изящен серебро-серый рисунок изгороди, как тонко вырисованы ветви дерев на фоне небес, тускло отражающих «первый снег», покрывавший русские поля. Нагляжусь, наслушаюсь и дома на белой отлевкашенной столешнице напишу «Лавру» розово-амарантовым колером и мумией намалюю башни, стены, высокую компанеллу. Потом ультрамариновые купола Грозновского собора и золотою вохрою шапку собора Троицкого. А оконца и воротца черными глазками глядят у меня с белых стен. А по краям черным же цветом подобающия литеры-пояснения вкратце. И по углам кину букеты роз. Столешница дня в два у печки сохнет. Тогда лаком выкрою. Хлеб-соль есть на таком столе приятно.

Лавру рисую, потому что в ней и, во-первых, во внутренней таинственной ее сущности, а во-вторых, во внешнем ее облике, народ имеет видимые и осязаемые воплощения своей радости о красоте.

Творцы-художники, создававшие во все века произведения искусства, которые мы видим в Лавре, зодчие, живописцы, а с ними мастера искусств прикладных — резчики, чеканщики, ткачи — нашли здесь удовлетворение своему томлению о красоте. А любитель красоты народ, хлебопашец, мастеровой, который сам непосред-

ственно не занимается «художествами», но любит украшательство, окруженный в Лавре великолепием красоты, которой при этом можно молиться, целовать, и народ, «потребитель» (как и создатель красот), находит удовлетворение и, так сказать, обладает в Лавре тем, чего неясно желал, о чем томился.

Служитель чистого искусства, «пейзажист», например, увидев то, что я вижу: черные деревья, коричную дорогу, тьмо-зеленыя ели на белом фоне перваго снега, так это все и потщится перенести кистью-красками на полотно. Или возьмет альбом, зарисует чеканно-кованый изгиб сучка, сплетенье веток, зарисует серебристые слеги изгороди с черными галками... Отсюда вот и появился в искусстве чудесный «русский пейзаж». О, как я люблю, какую заветную песню напевает уму и сердцу моему, например, саврасовская «Грачи прилетели»! Я родился на Севере, люблю природу родимого края. Вторую половину бытия переживаю в Средней России. Вопросом духовной жизни и смерти явилось для меня умом и сердцем прилепиться к природе второй моей родины. И вот то заветное, что сладко беседует нам с картины «Грачи прилетели», положил я, как печать, на сердце свое.

Возлюбленная «от младых ногтей» красота русского исконного народного художества, многоликого и прекрасного во всех своих проявлениях. И так, как она проявилась у сергиевских «игрушечников», и так, как она показала себя, скажем, у созвездия «абрамцевских» художников.

Торжественно-величава, может быть, и сурова красота родимаго Севера. Мне уж чудно теперь на самого себя: хватит ли, станет ли меня с нее. Уж я прилепился сердцем к здешней «Владимиро-Суздальской и Древле-Московской» земле. Уж глубоко запал мне в душу свет Радонежа. Где сокровище всея Руси, тут и мое. Не тут у меня несено, да тут уронено.

После гимназии (на родине) стал я ездить для обучения художествам в Москву. Но оставался страстным поклонником Севера. Приеду на лето домой и запальчиво повторяю, что сколь ни заманчива художественная Москва, но жизнь моя и дыхание принадлежит Северу. И моя мать с светлой улыбкой скажет: «Нет, голубеюшко, ни ты, ни сестры твои, вы не будете свой век здесь, на родине, доживать...» Точно она знала.

Сегодня я «в худых душах». Весь день лежу как пропасть. В доме тихо: я наверху, хозяйка внизу, тоже болеет. А моя комарья душа без хвори замирает: братишко по крайнему делу уехал. Ссуду просим. Не дадут, дак и... все тут. Все вот эдак: до краю доживем, отпихнемся да опять...

Надоело завтрашнего-то дня бояться. Уж не видел я у брателка веселия в глазах. Бывало, он петь, шутить, смеяться любитель был. На гитаре мастер играть. Голос у него светлый да сильный. Ох, как давно не слышал я его звонкого, беззаботного смеха. Еще по старой памяти запоет: «Свеча, чуть тлея, догорала, камин, дымяся, угасал...» или «Вечерний звон», или «Гора Афон, гора святая...» Запоет, да и помолкнет. От забот ему истома непомерная.

Тишина в доме...

Приехал братишко. Напилися с ним чаю. Мне к вечеру отлегчило.

«Богомолья» исконные, русские, посещенье прославленных, именитых обителей глубоко входили в быт, в жизнь русских людей. Не забуду, каким праздником, каким надолго взвеселяющим душу событием было для наших северных горожан морское плаванье в Соловецк, пятидневное пребывание в мире живой легенды.

Прекрасное зодчество, древняя живопись, древний покрой облачений, старинное убранство не только хра-

мов и келий, но и гостиниц, а главное, неумолчная песня моря, из волн котораго, точно сказка, точно древняя былина, точно дивное виденье, точно явленный Китеж-град, возносилась древняя обитель. Кроме того, на Соловках сохранилось древнее столповое, знаменное пение — музыка чрезвычайно своеобразная, необыкновенная, удивительная, некое торжественное, величавое и вместе с тем умилительное, манера пения разительно противоположная театрально-оперным красотам, повсюду и давно въевшимся в наше церковное пение.

Календарь гласит: в августе убудет дня два часа семь минут...

Глазишки сегодня худо взглядывают. А день такой «мой». Светлооблачно, без дождя... Нежная светлая пасмурность неба, тишина. Видно, к дождю звонко пропевают петухи. Слышнее далекие голоса... Никто у меня этого богатства не отнимает. Я ли не богат?!

Уносится мысль на родину и соглядает таинственную душу Севера, поклоняется сокровенному, но вечному свету его.

Там, на родине милой, сейчас глубокая осень. Кратки дни. С северным ветром перепадает снег. Помню низкую, обширную комнату с бревенчатыми стенами. Чисто намыты полы, старинные иконы в большом углу озарены лампадой. Развалистая печь дышит теплом. Все домочадцы слушают житие преподобного Савватия Соловецкого. Северный праздник. Но в эту поздне-осеннюю память святого угодника горожане, за морскими непогодами, не плавали на святый остров Соловец. Там в эту пору «снег что белый пух быстро кружится, подымает грудь море синее и горами лед ходит по морю». Одни иноческие соборы в монастыре и в скитах оставались «во отоке Окияна-моря» на долгие-долгие месяцы.

Суровый Север... Но как тепла, как согревала душу память родимых северных святых!..

У матери в спальне была древняя икона преподобных Соловецких. Зосима и Савватий возносят над бушующим морем обитель свою. Отец мой, моряк, счастливым почитал год, когда удавалось пристать в корабельном походе к святым островам и помолиться у гроба преподобных.

В осенние непогодливые ночи я, маленький, укладывался спать у матери в комнате. В старом доме водворялась тишина. В комнатах каждые четверть часа били часы свое «перечасье». Мать, помолившись, спит. Я знаю, что крепко молилась она об отце, который еще не вернулся с Мурмана, хотя уже начались непогоды. «О плавающих, путешествующих отцах и братьях наших помолитеся угодники божии, Зосима и Савватие!» — шептала мать.

И сколько раз проснувшись в ночи, всегда я видел святые лики Зосимы и Савватия, озаренные кротким светом лампады, как вечное благословение, возносящих над морем святую обитель.

Тонкое обаяние русской природы, нежную радость русской весны, настроение какого-нибудь февральского денька, когда начинаются уже оттепели, первый снег на Покров, одиночество сжатых нив, проселочных дорог, шелест осеннего дождя, все, что так исцеляет душевные раны, так мирит с жизнью,— все эти «настроения» мы почему-то алчно и жадно ищем встретить у художника-живописца и у писателя-поэта.

При этом нас может оставить совершенно равнодушными обширная салонная картина, изображающая природу. И наоборот, этюд, эскиз, рисунок вдруг скажет нам жданное слово о том, «кого» мы любим. И хочется часто, постоянно этот, скажем, пейзаж видеть. Видеть как собеседника, как друга, который нам такое верное и нужное, взыскуемое нами слово сказал о Любимом, о Желанном, Единственном, но как бы неизъяснимом или неуловимом.

Заветное, желанное дело соглядать лик природы. Соглядатайством этим обогащаешь разум, собираешь в душу сокровища, которые никто не сможет у тебя отнять.

Напрасно тебе кажется, что ненастливые, с дождичком, осенние дни похожи один на другой. Не воображай, что весною, когда тронутся льды на реках, то холодноветреные, облачные дни также схожи... Вот около тебя есть человек, лицо которого любо тебе. Посмотри: на дню-то несчетно раз оно переменится. То задумчивое, то грустное, то приветливое, то хмурое. То милый-то твой человек брови насупил, уста сомкнул — досадует. То опять брови высоко округлил, глаза округлил, улыбка пробежала по губам — весел друг-то твой, но с выжиданием... А все одно и то же лицо, что и вчера было.

Ты мне скажешь: «Вот ежели любимое-то лицо реветь возьмется неустанно и днем, и ночью, и целую неделю... Сидит перед тобой любимое лицо и пущает слезы с утра до ночи. Неделю я на даче сидел, и дожжинушка стояла несменяемая...»

Применил ты Море-Океан к малому озеру, а то и к пруду, или к лужице. (Не обидься!) Лик природы — Море Великое. Сокровищница неисчислимая, неисчетная, неизъяснимая. Лик природы — красота и богатство беспредельное, безграничное, радость и богатство, всем дарованное и одному тебе принадлежащее.

Ты любишь вечерние закаты — «слети к нам тихий вечер на мирныя поля...» Ты резвишься на зеленой траве, припевая: «Дожидались мы светлого мая. Цветы и деревья цветут. И по небу синему, тая, румяные тучки плывут!..» Люби. Это твое богатство.

А вот я люблю тихие ненастливые дни летом. Люблю оттепели зимою, когда, знаешь, небо оттушевано тонкосерым тоном. А земля бела, как ватман, и по ней черные лужи... А пуще всего я, знаешь, что люблю? — Люблю удивительный и неизъяснимый час рассвета. Люблю ка-

раулить рассвет и в городе, и в деревне. И зимою, и осенью.

Великое богатство это — раннеутренние часы. Чем больше их захватишь, тем ты богаче. Бывало, на родине мать, бабки и зимою в четыре часа встанут. На кухне березовые дрова весело затрещат. По горницам засияют лампадки. И как я радехонек, когда вовремя сон отряхну. При лампе что-нибудь рисую... И вот — окна зачнут мало-помалу синеть, небо бледнеть. Синий свет зимнего утра потиху начнет одолевать золотой свет лампы, восковой свечи...

Кухня у нас была обширная и по старой моде «улиминована» лубочными картинами. За год от чада и мух яркие краски пожухнут, и к Рождеству мама накупит новых лубков. Опять как цветы зацветут по стенам.

Материны помощницы Наталья-заостровка и поморка Ирина заводили моленье дома по-староверски. У нас полон дом был древних икон. Мы с мамой ходили на Соловецкое подворье.

К сочельнику в зале красовалась уже и елка, густая, ароматная, кудрявая, до потолка.

Ребячьи артели славильщиков заканчивали последние спевки. Славленье начиналось после ранней обедни, до рассвета.

— Дозволяете Христа сославить!..

Зайдут в зало, занесут звезду, блестящую золотой бумагой, запоют... По тропарю, славе... Пели стихи... XVIII века. «Радость сердца наполняет», «Силы ангельской», «Три царя», «Звезда грянет», «Возсияли дни златые...»

С Николина дня зимнего (6 декабря) по Крещенье (6 января) целый месяц приподнятое, радостное, праздничное было настроение. Особливо любо было в четыре, а то и в три утра вставать, заветные рассветы караулить.

Великим постом дни станут долгие. Опять начнется время сладостного ожидания Пасхи и весны. В апреле уж долги вечерние зори, рассвет рано. Ночные капели, проталинки, звенящие ручьи, распута по рекам, половодье. Таинственно-прекрасные недели Вербная, Страстная, Светлая, Радоница... Таинственное и прекрасное воскресение природы. Таяние снегов, вскрытие рек, прилет птиц...

«Настроение» вот этих месяцев марта и апреля, коих люблю я найти отображенными в живописи, в поэзии.

Есть чудесный рисунок Рябушкина «Пасхальная утреня»... Купол старинной церкови теряется еще в ночном небе, но вдали за ветлами брезжит уже заря... Как я люблю эту картинку Рябушкина! Художник (и каким простым средством — карандашом!) уловил заветный для меня предпраздничный час... Юность. Весна. Воды. Старинный, родимый город. Тихий рассвет. Иду от заутрени. Тихость природы, тихая радость в сердце.

Я люблю просматривать «пасхальные номера» прежних иллюстрированных журналов взрослых, детских. Художники любили изображать «выход от заутрени», «освящение куличей и пасок», праздничный стол, христосованье... Помяну «Оттепель» А. Ф. Васильева, «Грачи прилетели» Саврасова. Многие рисунки Серова, ряд левитановских... Сочувственен мне «Над великим покоем», у любимого моего Нестерова всюду вижу ненаглядную пасхальность и в пейзаже, и в умилительном жанре его.

...Пересчитаю популярные картины и художников русских и ловлю себя на мысли: а сколько у тебя любимых по «настроению» картин из иностранных?

В Эрмитаже есть «Избиение младенцев» Брейгеля. Дело не в сюжете «Избиения», а в пейзаже. Удивительно и широко дана деревенская зима. Как бы «первый снег», темные лужи по дорогам, снег на кровлях, голые

ивы, низкое тяжелое пасмурное небо, контрастное белым тонким пеленам снега. Стильные силуэты людей с древним изяществом выписаны на том же ровном белом фоне.

Вообще люблю уютные голландские «зимы», с тусклыми льдами, белыми берегами талых каналов, старыми домами в белых кровлях.

Есть у меня любимые гравюры. «Утерянная драхма». Обстановка скудной кухни или пустоватой кладовой. Женщина, согнувшись, освещает сальником пол — ищет драхму. По стене, углу и потолку «движется» громадная черная тень... Не картина из русского быта (Перов, Федотов), не домашние фотографии, а вот взгляну на такую картину, как «Утерянная драхма», и вижу себя дома, соглядаю свое детство.

И еще храню старинную гравюру, переносящую меня домой. Голландская хозяйка в кладовой проверяет на свете свечи свежесть яиц... Видно, зимние утра там, дома, в детстве, пали мне на сердце.

И еще храню картину на сюжет утра, любезный сердцу. Это опять-таки голландская гравюра XVIII века: две служанки, отягощаясь ранним пеньем петуха, сбыли его. Хозяйка, боясь, что служанки проспят, стала их будить раньше пенья петуха. Опять женщина в широкой юбке, со свечой, стропила сеней, тени от свечи, поющий петух, не слезшие еще с седала куры. В верхнее оконце глядит еще серп месяца, а в приоткрытую дверь — низкая еще полоска утренней зари.

Бревна стропил, тяжелая дверь, свеча, разгоняющая мрак, поющий петух, сундуки, серп месяца на предутреннем небе — подлинная серьезность, талант художника, сила настоящего искусства и, конечно, какое-то сходство «интерьеров» старой Голландии и родного поморского города заставляет меня в голландских картинах ощущать свое детство.

Русские художники с конца XIX века оставили много рисунков, акварелей на темы пасхального праздничанья. Репродуцировались в «Ниве», «Родине», на открытках и т. д. Много тут уютного, милого, но зафиксирована внешняя декоративность — куличики, писанки, зайчики; полинялая ленточка, обветшалые альбомы, фарфоровые яички, поздравительная открытка — эти материальные остатки, эти наивные реликвии, этот музей — дело не великое.

Материальное, вещественное меняется, ветшает, проходит. Глядеть на черепки бабушкиной чашки — одно сожаление: «все в прошлом». «Милое, невозвратное прошлое...»

А по мне то, что в музеях да в сундуках тлеет, и пусть тлеет! Мои воспоминания, мои впечатления детства меня на всю жизнь обогатили.

Не знаю, хотел ли бы я, чтобы, например, наш дом, там, в родном городе, сохранился со всем убранством комнат, с комодами, креслами, киотами, картинами, скатертями, книжными шкафами, ткаными половиками, на тех же местах, как стояло, лежало, висело все при дедах, при отце и при мне, ребенке и подростке.

Эти вещественные останки породили бы во мне грусть, что «никого уже нет». Эти материны вещи связали бы меня. И велик был бы соблазн сделаться хранителем музея:

— Вот это мамочкино платье сшито в 1875 году. Вот это вышитые ею туфли отца. Вот очки тетушки. Вот остатки скатерти, которую я, младенец, залил вином. Вот в медальоне мои волосики, когда мне сравнялся год... И т. д. и т. п.

К счастью, в нашем быту не было прискорбного и жалкого обычая фотографировать усопших сродственников в гробах. Того бы еще не хватало!

Для меня невелико то сокровище, которое моль ест,

шашел точит, червь грызет. Но подлинно «золотым» назову я свое детство и юность, потому что обогатился на всю жизнь сокровищем, которое моль не съест, которое не линяет, не ветшает.

Живая душа содержала наш «старый» быт...

В страстную, в Светлую неделю любил я в тишине слушать говор вод... Бывало, на Светлой неделе река еще не шевелилась, только ширятся, отражая небо, забереги. В низинах, на Мхах еще снега. Город весь, как Венеция, глядится в разлившиеся каналы и канавы. Но берега-холмы, на которых стоят церкви, обтаяли. Взлобья набережной обсохли, золотятся бурой прошлогодней травкой-отавой. На взлобье холма древняя церквица, внизу еще белеет снег, но два, три ручья летят, бьют, вьют, пенят, говорят о весне... Здесь людно будет в навигацию. А пока вон на обсохшей деревянной лестнице, что спускается от церкви к реке, сидят две старухи, отдыхают после обедни, глядя вдаль, тихо поют:

— Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи...

Скажем, это было сорок лет назад. А теперь, скажем, на холмах Хотькова, Сергиева, Городка, Сергиева Посада... в марте и апреле, когда еще «в полях белеет снег, а воды уж весной шумят», разве вербочки, и ручьи, и проталинки, и лазурь весеннего неба, и белые березки не те же?..

Лучше меня на пилу посадите, нежели тащить «гулять» по жаре... Нет уж... Около дома, в тени чудесных старых дерев, куда благоприятнее, нежели не вем где шататься с худыми ногами и глазами. Жить в лесу в избушке я бы любил. На одном чтобы месте. Вылез на крылечко и — вся гулянка. А как незнакомые места — меня это досадно рассеивает. Из своей тихой комнатки

с сосновыми стенами любо мне следить, как плывут облака, видеть лес, слушать шелест листвы. Только так можно сосредоточиться, обдумывать думу...

Молодость все топит в вожделении. Молодость уверена, что любовь-страсть — главное в жизни. Что любовь — во-первых, а все остальное — во-вторых.

Молодость не знает, не может понимать, что любовная страсть — это частность в жизни, вожделение телесное лишь неизбежный период. В годы расцвета красоты тела человеку надобно, чтобы им любовались, желает и сам любоваться, любить и быть любимым. И это добро, и надобно, и повелено. Как яблоня цветет и приносит благовонные яблоки, так должна покрасоваться молодость. Немногие призваны к девству. Это не для всех. «Все» пускай открасуются и отлюбуются в свои цветущие годы. А пройдет этот хмель, протрезвится разум, тогда должно человеку стать целым, честным, должно после хмеля юности взойти на высшую степень жизни и поведения. Пусть юность, как пчела, копошится в медвяных чашечках цветов любви. Человеку благословенно пожить в этой долине роз. Но потом следует отрясти с вежд липкий медвяный этот сон и прохватиться, и осмотреться. Открой «вещия свои зеницы». В долине твоей уже вечер. Посмотри, как сияют ГОРНИЯ вершины. Они отражают беззакатные зори, они никогда не меркнут. Восходи к ним: увидишь, какие дали будут тебе открываться. Доспей себя в «мужа совершенна».

То, что свойственно молодости, что любо и мило у юности, то сожалетельно видеть у пожилого человека, то бесчестье и зазор для старика.

Человеку дотоле свойственно копошиться в цветке любви, доколе не созрел ум. Отдай «долг природе» и подклони свою честную главу под венец светлой и радостной мудрости.

У всякого возраста есть своя красота. Не говорю уж, что люди обо мне скажут, а как я сам на себя посмотрю, когда мне за пятьдесят, а я гонюсь за утехами двадцатилетних и тридцатилетних. «Что-де за годы — пятьдесят! Я-де еще в соку и хочу жить». Не жалко ли мое духовное и морально-нравственное состояние, когда мне семьдесят, а я не желаю поддаться сорокалетним и пятидесятилетним?..

Конечно, всякий понимает, что значит это «жить». Уж весь-то я старый одёр, старая кляча. Бороду скоблю, ино морда как куричья жопа. Плешь блестит как самовар. Шея что у журавля. Брюхо посинело, ноги отекли. Задница усохла... А все пыжусь, все силюсь подражать молодому жеребцу.

И этот позор мне за то, что я разум свой растлил. Добрым людям, на меня глядя, смех, а мне смерть. Замер бессмертный мой дух, покалеченный скраденной жизнью.

Так вот мы и до старости молодящимся, легкомысленным умом уже не живем, а влачим жизнь. Мы убеждены, что, как скоро минули наши молодые годы, жизнь покатится под гору. И вот тщимся, усиливаемся как можно дольше в саду-то молодости остаться. Потому что до старости дожили, а ума не нажили.

Сознанию молодости свойственно легкомыслие. Разум спеется на следующей степени возраста. А мы и в пекле пятидесяти довольствуемся тем же легкомыслием. Обольщаем и обманываем сами себя, бедные!

Жар молодого цветущего тела, сила юной крови — от всего этого как бы хмелеет мысль-воображенье юноши, невольно уступает и подчиняется этому хмелю. Но эти «страстныя мечты» отнюдь не суть естественное свойство человеческого мозга. Этому положено свое время. Страстный хмель с годами должен пройти. Ум,

мысль, воображение должны снова стать чистыми, ясными, способными к восприятию иного сознания, должны взойти на ступень высшего мироощущения.

Но как часто с человеком бывает такая беда: «страстныя мечты» засядут в мозгу, и полюбит человек ими услаждаться. Страстно-ёт хмель должен налететь да вылететь, налетать да вылетать. И чем старше становится человек, тем реже и реже чад-то этот туманит воображение. А бывает, страстные-то помыслы прочное гнездо совьют себе в нашем сознанье. Полынным медом обволокут, залепят наше сердце и ум. Здесь уже не молодая кровь и плоть будет смущать ум и воображенье, а воображенье, ставшее распутным, и ум, сделавший себя развратным, начнут впрягать наш телесный состав в несвойственную, ненужную работу. Человеку-то по годам пора хвалиться и радоваться о «почестях высшаго звания», человеку-то в разуме чистом, омытом, светлом пора богатеть и строиться, а человек-от в низинах похоти, как свинья в грязи, роется. По себе скажу: сколько тут моей беды, столько и моей вины.

Ты говоришь:

— Я не виноват. Это у меня наследственное. Родительница моя, окромя троих законных мужей, встречных и поперечных довольствовала. А про отца и деда и говорить скоромно...

— Дак ведь эти самые слова и твои дети несчастные про тебя скажут! Отец-де наш был блудня. И мы, худосочные, наследственно выжимаем из себя...

Зачем же мы эту блудную колесницу тянем и детенышей наших на их погибель заведомо по той же пути везем, худую, бесславную участь им, бедным, готовим?!

У тебя, говоришь, нет детей? Ты свободен блудить делом и словом? Никому, говоришь, твои грехи не прильнут?.. Да ведь кругом дети. И таких же, как ты,

слабых родителей. Умилися о ребятишечках-то. Пожалей да научи их. Помоги им «наследственное-то» преодолеть! Ежели родители у них слабы, да и ты блудня, где же «малые сии» настоящих учителей будут добывать?

— Вы забываете мироощущение античной старости,— говорит мне НН.— Помните у Анакреона: «Старец пляшет в хороводе, просит жажду утолить!..» Представьте себе античный пир. Венок из роз на седых кудрях. Мудрец, черпающий силы в объятиях юности...

— Брось ты врать-та! Ужели не видишь, как «юность»-та глаза зажмурила и нос зажала, чтобы рачьих осоловелых глаз не видеть и смердящего дыханья не слышать. Нужда притучанила эту «юность» к этой жалобности...

...О погоде да о природе толковать самое любезное дело. А философствования ни я, ни люди читать не будут. «Ума холодных наблюдений» у меня нет. А «сердца горестные заметы» у всякого, чай, свои.

Уж чьих только объедков худая моя голова, как горшок печной, не переваривала на веку-то. Уж чем только разум-от не замусорен, уже какими только линялыми лентами и бантами ум-от не заплетен, не перепутан... Мысли-те не текут, не бегут прямо и право, не идут стройно, а виляют да криуляют. Не Слово Жизни, а свое измышление котелок-от мой поважен переваривать...

1948

Афанасьев день прошел — морозы не были. Зима все стоит сиротская, то есть по дровишкам не убыточна. С неделю ровно постояло, да и опять третий день дворники мне в оконце метлами воду брызжут. А се, авось,

уже теперь недолго буду я мокрые обутки изучать: надолго ли, нет ли, а влепил я башку свою неудачную на работу. До первого ладимся поплотнее засесть у работы в Митиной деревне.

Для пробы жили там три дня. Уставали, простужались, нервничали: труппа гораздо неопытная, тревожимся за спектакль. Но братишко режиссирует на совесть! Но устал он беспредельно. А надо начинать новую постановку. Я, конечно, своим ремеслом промышляю: мажу декорации. Получаем мы на двоих шестьсот пятьдесят рублей. Долги платить надо... Как хошь, так и рвись.

А в Хотькове праздничная свежесть воздуха, чистая белизна снегов, тишина несказанная!

Наш домик на взлобье круглой белой горы. Доступ к нам с долины Пажи по крутым ступенькам, вырубленным по ледяному скату. Под горой на Паже прорубь. Мимо нашего дома за день только и прохожих, что несколько баб с ведрами на коромыслах.

Баптистка в вагоне так настойчиво и проникновенно совала листок о вреде курения... Спрашивала адрес, приглашала на ихнее собрание... Все-де заблуждаются, все во тьме. До баптизма-де не было христианства, но одно заблуждение и обман...

Баптистское учение соответствует какой-то категории «взыскующих». Оно как раз по плечу «простым сердцам». Вся «вера» их разлинована на узенькие правила морали: веди себя хорошо, не пей, не кури и т. д. Эти добродетели баптистов в быту лезут наружу. Они не такие, как все прочие грешные. На собраниях чувствительные стишки, незатейливые мелодийки. Все обносочки с лютеранских или реформаторских — барских — плеч.

Что и откуда у них взялось, «простые сердца» бап-

тистов в это не вникают. Все у них ученически примитивно. Вот это и может привлекать в баптизм «малых сих».

Вот, скажем, молодое существо в теперешнее время... Молодому человеку, выросшему вне привычного русского быта, все непонятно в церкви. На каком языке читают и поют? Что значит и на что эти действования священнослужителей? А у тех же баптистов все просто. Вот тебе брошюрка с альбомными стишками. Вон Иван Иванович, закатив глазки, говорит:

— Господи, ты такой же, как я, плотник. Приди в мои объятия.

Баптистам присущ настойчивый зуд пропаганды. Новички, счастливые тем, что попали в избранное стадо, сами рьяно вербуют в секту. Они приходят на квартиру, если учуют благоприятную обстановку, начинают неотступно и неотвязно «спасать». Приходят к больному, предлагают даже свой уход за ним при условии присоединения к секте. Если больной не поддается пропаганде, его бросают «среди дороги». Не любовь к людям, не сердце милующее, не жалость к обездоленным, не доброта заставляют баптистов неустанно и неуемно охотиться за новыми и новыми адептами в свою «веру». Нет, если баптист знает, что ты не перейдешь к нему, он наступит ногой на тебя, лежащего, больного, и пойдет «спасать», выискивать покладистых.

Пропаганда, вербовка новых и новых членов, выискивание людей, находящихся «ни у того берега, ни у другого», скрытая или явная неприязнь и нелюбовь к церкви, самомнение и гордость истинно бесовские — вот основные черты баптизма.

Этим баптисты разительно отличаются от русского человека вообще. И от благодатной вековой практики Вселенской Церкви (Восточной). Но не эти различия собрался я рассмотреть... Баптизм или какая рациона-

листическая секта — их «как ворона на хвосте» невесть откуда занесла. «С ветру» все эти учения. Потому адепты этих учений и навязываются так, потому они и беспокойны, и егозливы, что чуждая они трава на лугах Святой Руси. Не здесь они выросли, сюда наскочили.

Когда христианство пришло в страну восточнославянскую, то пришло на землю девственную, языческую. Христианство принесло высшую культуру духовную, приобщило славян к культуре Византии, следовательно, к культуре Эллады, эллинизма. И это семя веры Христовой, принятой нами от Греции-Византии, дало на Руси дивный плод... Плодом вселенского христианства является и художественная культура Древней Руси — Киевской, Новгородской, Владимиро-Суздальской, Московской...

Что такое православие?

Вечерний звон, наводящий так много дум «о юных днях в краю родном»... Белая церквица среди ржаных полей... Или там, на милой родине моей, шатры древних деревянных церквей, столь схожие с окружающими их елями... И эти дремучие ели и сосны, и деревянное зодчество — они выросли на родной почве.

Силом меня братец в Измайлово выволок. Как корову на баню тащил. А против города хорошо здесь. День был бессолнечный; облачно без дождя, с летним ветерком. Отдыхаю (не знай, от каких трудов!), сижу в тишине, в спокое, «на воздухе», а братишко уехал на сутки в работу. Ему не надо отдыхать.

Сейчас время к ночи, за переулком играет гармошка, завизжат девки, залают собаки... К ночи приусилился ветер. Звук напоминает родину. Там в летнюю пору чуть припадет морской ветерок, и рамы уже скрипят. Их наружу, на ремешок подвязывали.

Я любил бы вот так один-то сидеть. Думу думать

да списывать... Только думы-те печальные: братишкино нездоровье меня сокрушает. Чуть в Хотьково съездим, кашель усилится.

Кабы эти мои записи были письмами к кому-то... А о себе, для себя... унынность свою, сто раз одно и то же — не для кого, не для чего. Сам для себя больно не занятен, не стоющ, не значущ.

Любовь без дела мертва. Жалею брателка единственного... А что пользы в моем сокрушеньи? Вот горе меня об этом и сушит.

Когда я был помоложе, то внешние явления и предметы, имеющие, так сказать, общий интерес философский, поэтический, идейный, художественный, оказывали на меня сильное впечатление. Я устремлялся к бумаге, к перу, чтобы записать иногда мгновенное переживание, настроение, сделавшее меня счастливым. Бывало, я никогда не записывал «ума холодных наблюдений, ни сердца горестных замет». Я хватал перо, чтобы занести внезапно схватившее меня радостное, счастливое настроение.

Теперь, вероятно, по привычке, я продолжаю вести «диариус». Но узок круг моих переживаний. И «пою уныло».

...На дворе непроглядный дожжинушка. Осень круто подошла. Ночи холодные, утра с туманами. Слышь-ка, в сентябре сулят снег. Совсем как у нас на родине...

«Счастье не вокруг нас, а в нас», красота не вне нас, а в нас. Внутри тебя не станет творческой радости, так и, скажем, красота природы не поражает душу. Не до того...

А добра и мудра пословица, что-де дома и стены помогают. Невзрачно у нас! Полы прогнили, потолок и стены покоптели, мебелишки нету. Обихаживать некому. А все свое тут, свое, хоть в этих невеликих аршинах.

Сколько тут пережито, передумано. Сколько переговорено... Ино «своя печаль чужой радости дороже».

...Я отчаялся, горе душу сжало: почему иные хапают, и у них тысячами насыпано, не знают, что придумать... И вдруг коснулось сердца: а ты кем быть обещался?.. На что ты родился?..

Все равно: худо, хорошо, здоров, болен,— повадишься писать, дак оно и пойдет само. А я себя писать не повадил. У другого льется само, а я выжимаю. А се и теснота мешает. Хочется писать-то из души, хоть не ключом бьет, а струится. Хоть тоненьким ручейком, а от сердца. А выдумывать, вымучивать — скучно это. Бывало, как на дрождях ходишь, скорей бы листок где схватить, карандашик найти. Бывало, по дорогам на березах записывал благие-те мысли... А теперь я увял, оравнодушел. Не подымусь, не полечу веселой-то думой, легкой, светлой. Сел, сижу: нету в сердце радости. (Это, парень, нездоровье, звон в голове; глотка болит.)

Всегда все хорошо в природе. Всегда она прекрасна, во всякую пору. Не говорю уж о весне и лете. А зимой в лесу разве не чудно хорошо. Нет, не умерло все, но спит. Тишина, снежок. А тона куда более благородные, чем летом. Черный цвет как сталь вороненая, как тушь китайская. Чудная гамма серых тонов: и серебро, и жемчуг. И белые тона — вспоминаю старинные определения белого цвета: сахарный, бумажный, блакитный. А мы все — белый. «Палевый» скажут еще. Своих-то, вишь, нет, так французское «пале». А старые красного цвета определения: «мясной», «брусничный» и т. д. А желтые: «светло-соломенный», «русый». «Камень тот рус живет...»

Как у отдельного человека притупляется острота

восприятия по отношению к тому или другому предмету, так и у целого народа. Отсюда смена вкусов, мод, стилей в искусстве. Нам кажется странным, например, как это в России с конца XVII века могли сменить строгий, величавый, высокий «дорический ордер» на барокко, тогда уже распространившееся по всей Европе. Да потому, что захотелось чего-то полярного давно приглядевшейся древней иконописи. А в барочных (затем рокайль) образах-картинах и была как раз новая острота. И более чем на сто лет барокко чувствительный полюбился. Такова была реакция против многосотлетнего единообразия. Долго матушка-Русь от «западных» стилей отворачивалась и небрегла, да вдруг сразу «с ручками» (как ребята-купальщики говорят) в барокко утонула.

Или вот еще живая черточка о живших в XV веке. Черточка, стирающая без всяких преодолений и трудов, без всяких проникновений «в древность», черточка, разрушающая время по самому обыкновенному, земному: «Лета 7032 (1524), 1 марта, пытал у Евпроксении Васильевой. И Евпроксения сказывала: «Помню маму его, которая его кормила. А звали ее Ефимья. А жила 106 лет...» Выходит, мать та еще в XIV веке жила. Ибо и «дитя» (св. Макарий Казанский), ею выкормленный, преставился в 1483 г. А справка понадобилась при обряжении мощей Макария в 1521 году.

Прочитаешь, и как будто сам проник и приник к тем векам... Видишь, как легко через века шагают, как время малится.

Тетка Глафира Васильевна говорила мне, что ее дедушка ей рассказывал, что видел человека, который присутствовал при казни стрельцов. По рассказам, это было от деда слышано в 1850 году, деду было 80 лет...

Если читать историю, исторические романы, как это все всегда «было давно». А послушаешь такой рассказ,

и высоко над временем взлетишь, два века видишь... И это еще в «сесветских» условиях такой взлет, такой охват и конденсация времени возможны.

1949

Творчески одаренный человек создает около себя и распространяет атмосферу увлекательную и живительную для других. «Подобное влечется к подобному» (Платон). У какого дела работает мысль человека, там и творчество. Всякая творческая деятельность человека рождает около себя жизнь. Особенно это относится к области искусства. Искусство тогда живет сильно, когда оно вовлекается в строительство жизни. Та или другая эпоха, строительствуя, имела свои идеалы. На Руси в XV веке стержнем «большого» искусства была церковность. Центром внимания «большого» искусства была только религиозная тематика. Со второй половины XVII века волны общей жизни уширили многостройную реку русских художеств... И церковное искусство как-то разрумянилось, раскудрявилось, подало руку бытовому народному искусству.

Всю неделю таяло. По дворам, по проулкам вода. У нас и не пробредешь, калошишка заливает. Против окон лужа. В нее глядится небо, чуть пооблачное. В Хотькове уже грачи прилетели. Братец не приметил, которого числа...

...Кабы брести тихонечко деревенской дорогой, меж талыя лужи. В оврагах еще снег. Под снегом, а инде поверх, ручей гремит. Подойти бы да посидеть у избушки на обсыхающей завалинке. Хозяин скворешник чинит. Петух где-то далеко пропоет. Тишина. А небо, небо ненаглядное...

Опять думается: «там хорошо, где нас нет». Печали да заботы с собой ведь носишь. Думается: кабы нужды да печали сердечной не было, так и в городе, в кирпиче сидел бы, «ох» не молвил...

Сей год малоснежна была зима. Поздно падали снега, не слежались, их круто и сгонило. По городу булыжник везде вытаял. В переулках грязно, по большим улицам уже обсохло.

Из жилья своего низенького вылезаешь, в глазах зарябит: как светло!

Грязь, лужи, а светло. Вишь, небо в лужи-то глядится. И несозвучным этому блеску сам себе кажешься. Как крот подслепый выполз. Бульваром брел да брел. Чудное дело: день, а бульварами никто не идет. Слякотно, вишь. Грязь, вода. Порядочные люди тротуарами сыплют. Я непорядошный, дак грязями грести люблю. Вру, что никого нет: ребятишки тоже не как люди. Им тоже не интересно по сухим тротуарам. Им тоже любее по снежным лужам обутку мочить. Стайка мальчишек видят, что я вроде них кружаю по лужам, остановлюсь да на воробьев погляжу, тростью в луже поболтаю, веточку понюхаю,— возымели ко мне симпатию: «Дяденька, пойдемте, вон там за деревом лужа больша-ая! Сидеть можно!» — «В луже?» — «Нет, пенек есть».

Март ненаглядный, раннее утро года. В марте и вечер беспечален.

Ребятам любо, где «почтеннейшей» и всякой иной публики нет, и мне тоже.

Мальчишки, они озорники, да светлые они. Предвзятости, тяжести, а главное, скуки в них, в детях, нет, грузу этого. Злобы, а главное — безразличия к людям в детях нет.

Безлюдье, будто и не в городе. Ясное небо, вечернее.

Мокрые дороги, вода. Холодный ветерок. Но это холодок утренний. Весь ты утро, весь ты радость, весь ты любовь моя, заветный, заповедный месяц март.

Время к восьми вечера. А все еще не погасла заря. Дома уже стоят черными силуэтами. Но потемнелая дорога все еще блестит лужами, отражающими тихий свет зари.

Был я еще молод, и так же в это же оконце глядела долгая весенняя заря. И опять вижу узор ветвей на золотистом догорающем небе. Когда-то (а уж не так давно) сладкая радость проникала в мое сердце от этой красоты неба, веток, воды. А теперь я гляжу и знаю, что это радость,— ведь любимый мой месяц март! Но как будто остается эта радость там, за оконцем, и не проникает меня.

И, выступая на подмостках, я уже не вхожу в роль. Делаю привычные жесты, привычно понижаю или усиливаю голос. Смешу. Публика хлопает, а мне, увы, безразлично. Ведь что в двадцать пять, то и в пятьдесят пять преподношу. Не чувствую, примелькалось.

...Бойко сей год вода сбежала и с крыш, и со дворов. Не успел я наслушаться этого шепота ночных мартовских капелей. И сосулек ледяных с кровель не видел. Конечно, в деревне протяжнее весна. У брателка все выспрашиваю, как на Хотькове воды, да как ручьи, как грачи, Пажа какова? А до грачей ли ему? В ночи-то с работы к поезду попадает: зги не видно, грязь да вода. Дорогу утеряет, на поезд опоздает, на ветру ждет...

Уж второй час ночи, братишки нет. Я сижу, жду — он стукнет в оконце.

Вот ведь горе: для гнева, для ярости, для раздражительности, для всякой скорби, для страха, для печали — по-прежнему обнажена душа. А к тонкостным впе-

чатлениям, скажем, зимней, весенней природы душа моя стала тупа и косна. И это не потому, что «мартышка к старости слаба глазами стала». То, что для меня детали пейзажа тушуются, не есть минус (в планах живописного восприятия). Не крошечными лукавыми глазишками моими соглядаю я, скажем, вешния воды, вербу у ручья, жаворонка на проталинке. Тут зрительные впечатления не главное. Ты сам участник пейзажа и воспринимаешь его всем существом, всеми чувствами:

а) **осязанием**, потому что ноги твои разъезжаются вон куда, вон в какие синие дали уходят. (Сюда прибавь-приложи веяние ветра, ощущение сырости воздуха. Озябнешь ты, ноги промочишь, это все неотъемлемо при живом восприятии.)

б) **слухом.** Для творческого восприятия природы слух великое дело. Не только поэт, музыкант, артист, но и «живописец» слышит «картину» природы. Слышать и слушать, например, тишину русской весны. Тишину эту акцентирует журчание ручья, шелест ветерка вон в тех кустах, карканье грачей вон на том дальнем холме.

в) **обоняньем.** Ветерок пахнет, холодок пахнет, сырость пахнет. Это в марте. А в апреле земля будет преть, пахнуть. А когда деревья зачнут распускаться, тут ты и сам знаешь, «чем пахнет». И веточку, и травинку сорвешь: обоняние и осязание вместе. И все неразлучно с живым восприятием пейзажа.

Я к тому говорю, что **зрение** — далеко еще не все даже для художника-пейзажиста. «Смотрит» ведь и объектив фотографа. Но что в том? Фотография — это инвентарный список, опись имущества.

Так что вот я не на глаза обижусь, а на то, что другие чувства лживы стали, невстанливы, безучастны.

В чем-то я еще не разберусь: если красивый изгиб черной ветки на фоне белого снега меня уже не трогает

(примелькалось, обыграно, облюблено), то «силуэт» нищего ребенка с протянутой ручонкой «на фоне белого снега» я не могу равнодушно видеть. (Прежде было иначе.) Но это во мне не доброта, не любовь. Любовь деятельна. А я только копеечку дам на вздохну. Таких «добрых», как я, «до Киева не переставить...».

А на дворе в сутемснки выпал снег. Небеса черные, земля белая.

...Чудное дело: вижу куст, дерево в черной воде, полоску снега в ложбинке, ступаю по хрупким листочкам льда, по застывшей глине у забора, бреду через лужу, которая разваличилась во весь перекресток, вижу нищих у церквицы, откуда доносится великопостное: «Иже в девятый час...» И ты скажешь: «Воспоминания детства как живыя встают передо мной...» В том-то и дело, что не «воспоминания»! Воспоминанье — это дымок от папироски, окурки. А я вот ясно вижу, чувствую, знаю, что радость, которая рождалась во мне тогда, в детстве, эта радость существует.

Ты скажешь: «Понимаю: события твоей жизни являются для тебя звеньями единой цепи...»

— Но цепь ведь влачат! Разве ты «влачишь» воспоминания детства? Или уж это чудная «златая цепь». «Красное золото не ржавеет...» И, дивное дело: бывали ведь и в юности, в отрочестве горести-печали, но в «златой цепи» жизни моей черных звеньев нет. Должно быть, с «золотом» слезы-то сплавились.

— Как это ты можешь ощущать и переживать одновременно то, что было с тобою сорок лет назад, и то, чем живешь ты в данную минуту. Как можно совместить переживания шестнадцатилетнего с шестидесятилетним?

— Видишь ли, несколько десятков лет моей жизни — это несколько десятков червонцев, которые все при мне. Существо этих «златниц» таково, что их нельзя расте-

рять. Жизнь свою я назвал «златою цепью». Первое звено ее есть мое младенчество, последнее звено есть старость. Концы этой цепи соединяются. Получается вечность.

При этом называю я свое «младенчество» первым звеном, а «старость» последним очень условно. У цепи два крайних звена, два начала, и естественно их соединить.

Разговор сейчас идет не о вещественном, плотском, осязаемом. Но все же и тело мое, руки, ноги те же самые, что «были» в четырнадцать лет. Я говорю о «переживаниях» тех или других лет моей жизни, которые явились знаком, знаменьем, залогом. Я отозвался тогда всем моим существом, всеми моими чувствами. От этого родились реальности, стали существовать «вещи», которые нельзя осязать руками, нельзя видеть телесными нашими гляделками, но которые, несомненно, существуют.

Истинная мудрость должна была об этом знать. Истинная философия должна об этом сказать. В каких-то книгах, вероятно, это объяснено, выведено и сформулировано... Человек я зело неграмотный. Языка у меня этого нет, и терминологии надлежащей не знаю. Опытно, для себя, дошел, а объяснить не умею.

Но я и не собираюсь создавать философской системы. И я говорю отнюдь не о вещах отвлеченных. Ничего абстрактного я не понимаю; этого не существует для меня. Может быть, абстрактными силлогизмами можно доказать и какую-то реальность, но я «не учен, не школен и в грамоте недоволен». Я упомянул о своих «переживаниях», которые являются знаком и залогом и которые есть доказательства несомненной реальности, а отнюдь не воображения.

Кратко приведу то, что в ином месте рассказал подробно. В четырнадцать лет у меня был некий «пир»,

некий «брак» с дождем. Был полдень, блистало солнце, лил дождь, благоухали цветы, березы, тополи, пели птицы... Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в теплых потоках. Я как бы «восхищен был втай и слышал неизреченные глаголы». Царственно было...

Как будто утешитель меня всего исполнил.

Это событие «плоть бысть» и существует.

Таких восхищений было в моей жизни несколько. Последние в теперешние годы жизни. На Паже, затем у прудов. Я как бы видел суть вещей. Я глядел на те же деревья, на ту же землю, на те же воды, которые видел много раз, но в эти (не знаю, часы или минуты) все становилось «не тем». Глаза как бы переставали глядеть, уступая место иному зрению...

Был сентябрь, конец месяца. С тяжелой ношей спустились мы с братом в долину Пажи, от Митиной горы к Больничной. Брат пошел быстрее, чтобы взять билет. Я брел тихо. День склонялся к вечеру. Безлюдно, безглагольно. Бурая земля, черная вода, голые деревья. Я с трудом передвигал ноги. Но вдруг все начало изменяться передо мною. Преславно стало вокруг. Как бы завесы открылись, раздернулись. Все стало несказанно торжественным. И черные воды, и долина пели, пели как громы, сладко и дивно...

...И еще утра волшебные тихие на реке Лае помню. Описать словами не можно... Не один год я жил на Лае. Из окон домичка нашего все один и тот же вид: река под окнами, лодочка у пристани, изгиб полноводной реки, луга на той стороне, кайма лесов... Но бывали утра — мы собирались с отцом на охоту. Он укладывает парус, весла. Я гляжу диво, которое творится вокруг. Серебристый призрачный туман над водами. Небо глядит в зеркало вод. Вероятно, отсюда и чувство волшебности, и будто летишь с чайками...

Воспоминание не может надолго приковать внимание человечества. Люди живут настоящим. Традиции могут существовать долго, но и они бледнеют и исчезают. Историческим событием, воспоминанием о нем может жить эпоха, в которую событие это случилось. Следующие эпохи, следующие поколения интересуются новыми историческими событиями...

С тем да с другим суетимся... Уж нет этого желанья-раденья писнуть что-нибудь. Июнь-то поет — все дожди да и с холодами. Кто говорит: ладно, трава растет. Кому опять неладно... Братишечко все кашляет, особливо по утрам. Ажно мокрый сделается, до того его кашель-то добьет.

Сряжаемся в Хотьково, да не удумаем — как. Сейчас и в городе не лихо: пыль-ту убило дождями. Братец из деревни приедет, мне все фиалок привезет. Недели с две было: как ночь, так во всю комнату аромат.

А сейчас братец ромашки приносит.

И писать не знаю что. Работать надо, а не вымышлять праздно.

Что у меня за подлый норов: раздосадуюсь сам на себя, а придираюсь к братишке. Сегодня он на работу ехать спешит, летает-собирается, а я выбрал время, гундосить начал, что-де долгов он не платит, «неимущих-де людей обидит, писцу-де должен и сестрице должен...» Он разобиделся...

И что это за подлый у меня норов? Ведь знаю, что не может он концы с концами свести. Ведь знаю, что и работает он свыше сил, а ест... Братишко уж и есть расхотел. Допостничались: туго было с месяц...

Священное таинство, служащее и вызывающее явление на земле нового человека, втоптали в грязь, сделали скверностью. Но «тем море не погано, что псы в него на-

лакали». Недаром речено, что женщина спасет свою душу рождением детей...

Ночь... Братец уехал в город с ночевкой. Тьма окутала землю. Призрачными дорогами тянется над болотами туман. Лес будто подошел к оконцам. Меж вершины елей как свечи стоят звезды. Миры неведомые. Хоры дивные светил. Кто зажег их? Кто учредил эту бесконечность? Кто учинил это величие? Что и кто там дальше звезд?.. Тайна, умом непостижимая, но поклоняемая и славимая. Источники жизни на земле оттуда. Потому что Земля частица Вселенной.

Людям некогда глядеть в звездные миры: «Видели. Ничего нового». Тем же обычаем и о светлости младенческого лица говорят: «Что там... Ничего оно не выражает, потому что ребенок — ребенок и есть». Звезды — звезды и есть. Ребенок — ребенок и есть.

А между тем нет никакого сомнения, что светлость младенческого облика есть отпечаток светлости иных, неприступных миров.

С годами эта светлость сбежит с лица дитяти. Но пока она сияет в лице дитяти, я несыто хочу глядеть на него, и спрашивать, и угадывать, и дознаваться.

Любо и светло находить и видеть заветное, желанное. Под горою, прячась в кустах, вьется меж цветущих трав, сбегает вниз белоглинистая тропинка. На высоком песчаном обрыве громоздятся ели. Щебечут птицы. А вдали ненаглядный «нестеровский» пейзаж: светло-желтые поля на холмах, елочки, по горизонту синяя полоса леса. И над всем прозрачно-облачное, тихое небо.

— Добро нам здесь быти,— говорю я брату.— Построить бы избушку под елью...

А на Маковце, всякой раз, как побываешь у него, еще много видится светлого чуда. Три белых собора — как три белые птицы у моря. Они только что сложили

крылья, но опять готовы лететь. В белокаменной «церкви чудной, еже созда ученик над гробом учителя», дивная «золотая легенда» Андрея Рублева... Здесь поет «птица Сирин, глас ее в нощи зело силен. Кто поблизости ея будет, тот все в мире сем позабудет». Он, ученик «Святой Троицы», вдохновлял и Андрея Рублева, и зодчих. В этой песне линии и красок у блаженного Андрея, в этой песне зодчества душа великого Сергия.

Добро сдумана, ладно сделана светлая и радостная живопись над вратами. Линии, краски, очертания фигур, здания — все нездешнее, на всем свет горняго мира.

Благодатна была земля Маковца. Чудно цвело здесь и искусство века осьмнадцатого. Знаменитая кампанилья, «чертоги» — это все вошло и в народное искусство, в игрушку.

Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий удивительный синтез русского искусства вообще... Неожиданно с дороги открывается взору эта сказка... Точно виденье возникает перед тобой этот холм, этот явленный Китеж Древней Руси... Стоишь на мосту, глазам не веришь: — Господи, да что же это?! Наяву видится или во сне чудится??

Невольно начнешь спешить, опережая других, начнешь торопиться для чего-то. Очевидно, для того, чтобы руками осязать эту «златую легенду», ногами исходить эту сказку, красоте которой очи не верят.

В детстве там, на Севере, слыхал я древнерусские былины. Прозвучали, да и нет их. А эта былина, былина светлого Радонежа, наяву. Боговдохновенная песнь старой Руси стала вещественной... Лазурная музыка Древней Руси облечена здесь в формы. Это одно из великих чудес России...

В народное искусство, даже в игрушку — «радость детей», вошли красоты чудного града.

Русское искусство разных эпох видится на Маковце в некой удивительной гармонии. И не то что видится, принимается сердцем. Великолепно явила себя здесь эпоха Платона... Но душа моя хочет притти, припасть и поклониться тому, что озарено немерцающим светом Сергия... и Андрея Рублева...

Благодарная эпоха Сергия — XIV век, эпоха учеников его — XV век — это самая сильная, самая обаятельная, самая могучая струя жизни этого чудного Града, который есть сердце Святой Руси.

В призрачной и таинственной сумрачности оной «церкви чудной» мерцают свечи. Там отец наш. Там молчит священная гусль Руси Святой. Но разве молчит эта божественная гусль? Нет, она поет, и говорит, и зовет.

В нашей русской природе есть некая великая простота. Эту простоту скудостью назвал поэт. «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» Но душевные очи художника в этой простоте видят неистощимое богатство. Серенькое русское небо, жухлого цвета деревянные деревнюшки, березки, осинки, елочки, поля, изгороди, проселочные в лужах дороги... Красками как будто бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина — на первый взгляд она схожа с горошиной. Но вглядись в жемчужину: в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче ли, не краше ли перламутра тонкая пелена облак над холмами Радонежа?

Что проще наших полевых цветочков: ромашка, иван-чай, лютик, незабудка, колокольчик, голубоглазый василек? Но не в голубизну ли василька, не в синь ли полевого колокольчика божественный Рублев одел пренебесное свое творение — икону «Святая Троица»!

Жемчужность и перламутр рублевских красок — оне русского «серенького» неба...

Скажут: «Но эти краски Рублев видел у византийцев, у Феофана Грека!» Нет уж, извините! Эту тихую мечтательность, этот пренебесный мир, эту божественную гармонию не только линий и очертаний, но и красок, блаженный Андрей мог найти только в себе и видеть только около себя...

С Ильина дня все же сушит. Только наш поселочек на болотце сидит: все еще с крыльца не ступишь. Здесь недавно селиться стали. Пни торчат, дороги нету, только тропочки. В Хотькове про здешних говорят: «В лесу живут». А леса уж нет. Только то тут, то там старые вековые ели. В ветер зашумит, шум дождя да шум деревьев — сладкая музыка. Сначала дальние деревья зашумят, потом ближе. Мало — и в оконца ветерок пахнет, занавески залетают... Бумаги мои полетят со стола...

Малых пичужек здесь редко услышишь. Оне у Вори под горой, в кустах.

Любезных моих ворон, галок и желанных сорок нету. Может, зимою будут. Пуще соловьев, пуще певчих птичек люблю я сорок, ворон да галок; и грачей — вестников весны.

Сорока — птица из сказки. К избушке подлетит, на изгородь сядет, всего наговорит, да таково спешно да занятно. Любезную птичку-сорочку увидишь и уже знаешь, что сказочно «некоторое царство» тут близко, что никуда оно не девалось.

Славная здесь Земля. Здесь возродилась русская сказка.

Облачное небо, елочки, березки, болотца и дремучия ели... так и видится «избушка на курьих ножках».

Край деревни, как стена, ряды за рядами стоят старыя ели. Все шумят, все чего-то сказывают. Дерево к дереву, ровныя, густыя, точно древния башни,— богоделанный город.

Катехизис, определяя, что такое вера, дает Павлов привод: «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». То есть, несомненное известие о том, на что ты уповаешь. А так же в вере на лицо предстают невидимые вещи.

Свойства истинного художника всецело можно определить этой формулой. Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или в Багдад.

...Человек-художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь «своему». Все шире и шире открываются душевныя его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает.

Ежели твое «упавание» есть любовь к красоте Руси, то «эти бедныя селенья, эта скудная природа» радостное «извещение» несут твоему сердцу.

Городок, Здвиженское, Хотьково... И сергиевские «игрушечные» деревеньки. Глинистые дороги, поля, болотца, ельник... И нескончаемые дороги, изгороди, чахлые поля... и... сорока стрекочет на изгороди... Не о художной ли сказке того первого Игрушечника, который строил (будто сказку сказывал) вон тот былинный городок, что как сон наяву возносится посреди чахлых полей, под «сереньким русским небом»?

Поверхностным и приблизительным кажется мне выражение — «художник, поэт носит с собою свой мир».

Лично я, например, не ношу и не вожу с собою никакого особого мира. Мое упование в красоте Руси. И живя в этих «бедных селеньях», посреди этой «скудной природы», я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту. Потому что талантливость твоя или моя «есть вещей обличение невидимых».

Он не видит здесь сказки заветной, заповедной. Он говорит: «Может, здесь что и было, да сплыло». Ему надобно «за сказкой» ехать в «Персию», в Шираз или в Багдад.

А у нас с тобою... Вот выпадет первый снег... Белая земля, «серенькое» небо, и — на черной слеге у овина защекочет, засказывает сказку сорока-белобока.

Несыто ли хотим слушать сорокину сказку. О богатом мире русской красоты сорока-то возвещает...

Уж полдень, а тихость утренняя не сходит с земли. Ходил, проверял свое сокровище... Встарь серебряную казну ковшиками считали.

Вышел к Воре, сел на горе. Искажают люди прекрасную мати-Пустыню... А все же есть и жива ея тихая русская красота. Построил бы «келью под елью», избушку бы на курьей ножке, да все и поглядал бы эту даль. Меж лугов и полей проблескивает чистым серебром, вьется Воря. Ея долину обогнула цепь высоких холмов. По вершинам их нескончаемой стеной уходит вдаль синий ельник.

Завидую людям-хозяевам, людям практическим и расчетливым. Смала превзошли они науку — добыть, нажить, приобрести. Жизнь мне показала, что одна только эта наука и пригодна, и нужна. Практические люди ступают твердо, глядят остро, говорят уверенно, никому не кланяются, советов ни у кого не спрашивают — деньги ума дают. Скупятся они и жадничают с радостью — больше останется. А наш брат скупится и скудается от того, что нет ничего. Завидные эти люди берутся только за верные, выгодные дела. На авось ничего не делают. Не так наш брат, который за тенью гонится, на вей-ветер надеется.

В результате стыдишься ты своей «жизни в искусстве», и крыть тебе нечем перед запасливыми «умными» людьми. Все твои «науки, искусства, поэзию» умные эти люди ни во что кладут и ничем зовут. Слушают тебя сочувственно, а думают:

— Ты бы, философ, лучше валенки к зиме подшил да локти у пальтишка залатал.

На скудость-ту обижусь да обижусь. И обида эта мне свет Божий застит. Опять зазираю и корю себя за свое усердие к этой святости и красоте природы. С ведерком в гору вздымаюсь, десять раз остановлюсь, не могу налюбоваться. И борются во мне два ума. Один ум доказывает: красуйся над тем, за что деньги платят. А с этого пустого погляденья сыт не будешь. Другой ум говорит: эти серебряные осинки, это ясное небо, эти холмы-богатыри с еловыми гребнями на затылке, эта молчаливая, но много говорящая река, вся безглагольная, но многопесенная тишина этого места, все это и есть твое богатство. Это и есть твоя «радость неотымаемая». На это твое богатство никто не обзадорится.

Достоевский сказал: «Красота спасет мир». Очень широко и общо сказано. Не хочешь, да помянешь сказку: «...твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту. Неси благодать, а то ничего не видать!»

Ох, голь перекатная! Хоть кол тебе на башке теши, ты своих два ставишь. Опять «красоту» да «светлоту» прибираешь. Краше бы тебе «бедноту» да «наготу» рифмовать.

Я согласен. Рассудок мой таково ж скаредно думает. Но сердце, но разум вопиют свое: «А все-таки она движется!» Есть, есть красота! Существует сама по себе и не требует причин к своему бытию. Скажут: идеализм. Ну а «любовь», «совесть», «жалость»? Каких ярлыков ни наклеивай, душевные вечные чувства и свойства останутся с человеком. Точно так же, как любовь (не физиологическая) — «дышит где хочет и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Точно так же и красота, рождающая в человеке чувство радости, понуждающая человека к творчеству, существует помимо нашего при-

знания или непризнания. Искусство и поэзия созданы радостью о красоте.

Это я говорю в оправдание того, что, например, за водою на речку можно сбегать за двадцать минут, а я в час не обернусь.

...Нашел чем хвастать, слезами! Чувствительные дамы всякий час плачут. Оттого у них и нос красный.

Но, например, великая душа — Пушкин ничем не схож был со слабонервной дамой, и тем не менее у него был «дар слез». Он пишет Филарету Дроздову: «Когда твой голос величавый меня внезапно поражал... Я лил потоки слез нежданных...» И в другом месте: «Над вымыслом слезами обольюсь». Стесняясь своих слез, Лев Толстой шутил: «Я старик мягко-слезный...»

Бумажных книг не читаю. Некогда. Ничего бумажного, чернильного не вмещает моя голова. Житье-бытье близких моих, а их у меня много, это я переживаю днем и обдумываю ночью.

Вот мое утешенье, моя отрада: как все-то успокоятся, уснут, лягу и я и начну складывать рассказ или повторять готовый, подходящий к горести или радости дня. Много у меня в памяти «сырых» рассказов. Я люблю их уделывать, речь к речи пригонять.

Пишущий человек ощущает потребность писать и будучи в унылом настроении. Очевидно, ему необходимо выключиться, он хочет отойти от горькой печали. Но все же унылые ползут мысли. Уныла и речь. Да и надолго ли в таком преогорчении писанье твое? Бросишь перо-то.

Люди нужны людям. Бывают дни удушливо-тоскливы. Знаешь, что ежели теперь тоскливо, то дальше бу-

дет «плач и скрежет зубовный». Но вот точно вольным ветром нанесет к тебе человека с живой душой. И будет он говорить не о твоем горе, а горя твоего часть он унесет.

Извне огляжу мою жизнь, как будто ровная она: полжизни прожил в Архангельске, полжизни здесь. Два жительства только и сменил от рождения до старости. Маску тщусь носить спокойную. А уж как сердце-то рвется да слезами исходит, то уж мое дело.

Братишечко сядет на постели, взглянет в окно, тихонько скажет: «Абрикосиха прошла. Соболев куда-то идет. Древние, а ходят. А я уж не могу...»

Меня горе схватит: «Что уж наша участь какая!»

Потом одумаюсь: «Братишечко, не горюй. Другой бы и рад, как мы, дома посидеть, полежать, да некого в лавку или в аптеку послать. Дом напротив — думаешь, мало в нем чахлых, немогущих, сиротливых? А мы живем, не брошены. Смеющихся, болтающих мы видим и слышим, а грустные — они печали своей не выказывают».

Когда-то я записывал только то, что рождалось в голове «от веселья сердечного». Я чувствовал в себе творческую радость до пятидесяти лет. Потом она стала утекать, как вода из треснутой чашки.

Поздненько я спохватился, что «вдохновения» ждать извнутри себя дело легкомысленное.

Надежно только то, что добыто трудом, крепко и верно только то, что достигнуто подвигом.

Годов до тридцати, тридцати пяти я мало писал: расписывал и разрисовывал стены, двери, бумажные листы. Потом был у меня период годов с десять — записывал редкостные мои мысли как попало, на чем попало, на полях газет, на коробках. Записывал ни для кого. Теперь, «годами призаживши, летами призабравши», из самого себя не выжму. О том горюю, что друзья-сверст-

ники, собеседники мои, сотаинники уходят «в путь всея земли». Как цветы вокруг меня увяли, как свечи угасли.

И все-таки живет в душе какая-то светлость. Не люблю печального сна, не терплю на себе горестного унынья.

Говоришь, значит, что радость утерял, будто кошелек из кармана выронил. Что уж, сказано ведь: на старости две радости — кила да грыжа.

Отовсюду выходит, что расположенье мое удрученное. Однако выработанная привычка — закреплять письмом сердечные мысли — действует во мне.

«Душа моя мрачна», однако мрачность и удрученность свою анализировать — какая мне от этого польза и кому это интересно?

Великое горе сбило меня с ног. Я уж не валяюсь, не кричу. В тоске смертной я забился в угол.

Я чувствую, что стал мал и ничтожен перед величием горя моего. Стал я тупо-равнодушен к близким, сердечным людям.

Житье-бытье в старом здешнем доме для меня тоска неизбывная, непроглядная. Переезд в новое жилье представляется мне зловещей, бессрочной ссылкой.

Знаю человека, уже оскудевающего силами телесными, но еще богатого душевными чувствованиями. Говорит о себе: «В силу недуга я домоседлив, но крылатая дума моя летает широко — зимой над полями снежными, весной над лугами цветущими. Но не там богатства мои. Сокровищница моя — близкие мои, искренние мои».

Я зайду к этому человеку, он поглядит в оконце, потом на мой лысый лоб, скажет: «По небу — облака, по челу — думы». Я отвечу: «Ум мой долу поник. Ум мой как ночной ворон. Скажи мне слово живое».— «Опять заплачешь?» — «Легче будет».

1953

Вот как регистратор записываю «входящия да исходящия». А бывало, философствовать любил. Теперь уж ничего такого в уме не родится. Всем оскудел: и телом и духом... В компании с рюмкой в руке, или в театришке балаболю речисто. А обычно косен и медлен стал мой разум. Да и был ли он когда у меня? Художество любил с детства, рисовать, красить, вырезать, мастерить что ни то — очами оскудел. Желание есть, а зрение не позволяет. Живое слово люблю: сочинять бы да сказывать. Ино, этот товар не идет. «Раз в год по праздникам» позовут куда-нибудь побаять, попеть, посказать. Ино для этих редких и случайных «разов» нет резона сочинять да слово составлять. И сдумал бы что, а для кого? «Уронена стара мода со высокого комода».

Я поминал, что уж не восхищаюсь природой, как прежде... А все же, пустой да унылый, выглянешь на улицу или в окно выглянешь: солнышко, небо, воздух, зелень, по долине внизу вьется Пажа. Посветлеет на уме-то, теплее станет на сердце. Животворна она, природа...

Горькую чашу подносит мне жизнь на остатках. Не отказаться, не отбиться, не убежать. Страшно, ужасно, а пей чашу горчее полыни.

Людям горя не кажу. Что спросят, отвечу весело. Пуще всего бодрись перед близкими. Думаю, все уйдут, дам себе волю. Один-то остаюсь вечером. Вот и глянет в оконце «погибающая заря». Вешние и летние зори сияют нежно, ласково. Сейчас глядит заря осенняя. Пронзительна, резка, плачевна.

...Вот закрою дверь за племянником, буду лицо ладонями бить да кричать беззвучно.

Но где и когда вот так же остро-зрачно и горько-плачевно глядела мне в душу эта осенняя заря?

Это было в молодости, когда я расставался с родимым домом. И там я, ладонь к ладони, бил локтями о стол. Кричал тогда: «Прости, отчий дом! Думал, век буду здесь жить, остается век поминать!»

Вышел на пристань. Увидел красоту вечную, превосходящую всякое горе. Было небо, пылающее золотом и розами. Двина катила волны сизые с чернью, а гребни волн отражали огненный закат.

Север мой, родина моя! Живы они, свидетели моей жизни. И не «погибающие зори», а свет вижу вековечный.

Я тем душу питаю и силу беру, что, когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносили мужественно и великодушно, так должен и я.

И вот сейчас, глядя на «погибающую зарю», я не стал кричать и бить руками о стол. Я стал рассказывать стенам и сам себе быль, которая давно живет в памяти сердца моего.

Не беда, что все мы слабы телом, больны. Беда, что ослабли духом. Не только немощные, но и здоровые телом негодуют на всякое беспокойство в личной жизни. Даже бабушки и дедушки, дяди и тети крайне тяготятся внуками:

— Не отдохнешь, не сядешь как следует чайку попить...

Не дадут полежать, кричат, стучат, шумят, просят есть, одень их, раздень, подай то, подай другое, капризничают. С улицы дети приходят в пыли, в грязи, с мокрыми ногами. Что-нибудь разорвут. Надо на них стирать, гладить, зашивать, штопать. Надо купить обутку, одежу.

Это все так. Особенно в тесноте городских квартир,

комнат. Нянек ведь мало кто может держать (я говорю о среде, в которой живу).

Такова же и психология современных бабушек и теток, живущих в деревне, хотя там жить просторнее и привольнее...

Но, в общем, иссякло чувство любви и жалости даже к внучатам, к племянникам, не говоря уже о чувстве к неродным детям. Под настроение и чужому ребенку дадут конфетку, яблочко, посмеются, пошутят с ним, но терпеть шум, возиться с чужим ребенком никто даром не станет.

Все мы устали, всем нам некогда, всем нам надо работать, все мы хотим спокоя. И далеки и непонятны нам слова об «иге», которое надо взять на себя для того, чтобы обрести покой душе. Если бы в нашей душе жила любовь и жалость, если б мы горевали о том, какая жизнь у них будет, мы терпели бы беспокойство от них, не тяготились бы усталостью. Мы почувствовали бы, что дети «иго благое и бремя легкое»... Но не найдем спокоя мы, жаждущие устроить жизнь себе к покою.

У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края онаго таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И оттого, что начало жизни и конец ее уж близки к слиянию, оттого, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное златое кольцо, так уже проскакивает искра от концов кольца, оттого я и чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. А когда концы кольца онаго дивного жизни сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойно надо конец-то жизни-кольца, из того же и чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности.

КНИГИ Б. В. ШЕРГИНА

У архангельского города, У корабельного пристанища.— 1924.
Архангельские новеллы.— М.: Сов. писатель, 1936.
У песенных рек.— М.: Госиздат, 1939.
Поморщина-корабельщина.— М.: Сов. писатель, 1947.
Океан-море русское.— М.: Мол. гвардия, 1957.
Запечатленная слава.— М.: Сов. писатель, 1967.
Поморские были и сказанья.— М.: Дет. лит., 1971.
Избранное.— М.: Сов. Россия, 1977.
Поэтическая память (Дневники).— М.: Сов. Россия, 1978.
Древние памяти.— М.: Худож. лит., 1989.
Изящные мастера.— М.: Мол. гвардия. 1990.